

ВИКТОР-МАРТЕН-МАНСУР

Р О М А Н



Илья Калинин

18+

Илья Калинин

Виктор-Мартен-Мансур

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор-Мартен-Мансур / И. Калинин — «Автор», 2026

Москва, наши дни. Виктор Скорев, пятьдесят лет, руководитель отдела продаж, умирает от инфаркта в последнюю неделю квартала — у кофейного автомата, не дожав план. Приходит в себя он в вольном городе Варене, начало шестнадцатого века, средняя Европа, в теле сорокалетнего нищего горожанина Мартена: в долгах у ростовщика, без родни, с дурной славой, которой сам не помнит. Магии не будет. Виктор не инженер — ни пороха, ни стали, ни электричества он этому миру не даст. Зато он умеет то, чего здесь не умеет никто: продавать, убеждать и управлять людьми. Власти он не хочет, ему нужен тихий сытый достаток и чтобы его не замечали. Но деньги дают заметность, а заметность в этом веке стоит дороже денег.

Содержание

Глава 1. План	5
Глава 2. Инвентаризация	14
Глава 3. Ростовщик	21
Глава 4. Чужой товар	29
Глава 5. Тело	36
Глава 6. Чужими руками	42
Глава 7. Харчевня	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Илья Калинин

Виктор-Мартен-Мансур

Глава 1. План

До конца квартала оставалось три дня, и план по рекламе в Яндексe горел — не жёлтым, предупреждающим, а тем ровным синим огнём, каким горит спирт: тихо, чисто и до конца. Я знал этот огонь наизусть. Двенадцать лет он вставал у меня перед глазами четырежды в год, в последнюю неделю каждого квартала, и я сжился с ним, как сживаются с болью в спине: она не проходит, но с ней живут, потому что деться от неё некуда.

Переговорка была стеклянная, глухая, с той дорогой звуконепроницаемостью, за которую фирма платила, чтобы крик начальника не долетал до клиента на том конце провода. Пахло остывшим кофе из бумажных стаканов, тёплым пластиком техники и тем особенным душком офиса на исходе квартала — душком чужого страха, который я научился различать так же безошибочно, как собака различает след. За стеклом гудел общий зал: стрекотали клавиатуры, кто-то виновато смеялся вполголоса, кто-то в наушниках раскачивался над телефоном, повторяя одно и то же чужому уху. А здесь, у большого экрана, было тихо, как в операционной перед разрезом.

На экране светилась воронка — моя воронка, я собирал её двенадцать лет, — широкая вверху, где сыплются холодные звонки и первые касания, и сходящая на нет книзу, там, где падают закрытые сделки и живые деньги. Внизу было пусто. Восемьдесят один процент. За такие цифры Гуров снимал головы неторопливо, со вкусом, как снимают сливки, — не разом, а дав тебе сперва почувствовать, что голова покуда на месте, и оттого потерять её вдвое страшнее.

Я стоял перед отделом и смотрел на них — двенадцать человек, средний возраст двадцать восемь, средний срок жизни в продажах полтора года. Они смотрели на меня — снизу вверх, из своих кресел, из-за своих мониторов, поверх остывших стаканов, — и в их глазах была та смесь ненависти и надежды, какая бывает у гребцов, глядящих на надсмотрщика с бичом: бьёт, но пока бьёт — значит, лодка ещё плывёт. Я знал про каждого всё, что нужно знать про человека, чтобы им управлять: кто боится матери, кто — ипотеки, кто спит с кем и кто мечтает уйти в маркетинг, где не надо звонить. Люди — это не души, что бы там ни пели в церквях. Люди — это набор кнопок. Я всю жизнь нажимал кнопки, и они нажимались с той же покорной точностью, с какой западает клавиша под пальцем.

Они складывались у меня в голове не в имена, а в типы, которые я перевидал за двадцать лет сотнями. У окна сидел Денис — крупный, сонный, с лицом добродушного вола, лучший из них по цифрам и уже наполовину мёртвый внутри; из тех, кто научился звонить, не слыша собственного голоса, и оттого работал ровно и без души, как насос, а насос не спорит и не выгорает громко — он просто однажды перестаёт качать. Через проход от него — маленькая злая Вика, три месяца в отделе, с горящими голодными глазами; эта ещё верила, что продажи про ум и хватку, рвала жилы, подсигивала соседей и глядела на меня так, будто примеряла моё кресло. Через год она либо кого-нибудь сожрёт, либо сгорит сама — третьего в этой профессии не бывает, и я это знал про неё лучше, чем она про себя. Дальше сидел парень, чьё имя я всё время забывал, потому что забывать было выгоднее, чем помнить: он уже уволился внутри себя, ходил сюда телом, а мыслями давно устроился в другом месте, и таких я держал ровно до конца квартала, выжимал остаток и отпускал без сожаления, как выжимают тряпку. Двенадцать человек. Двенадцать разных пружин. И на каждую у меня был свой захват, найденный не вдруг,

а годами тихого наблюдения, потому что человека нельзя заставить — человека можно только нажать в том самом месте, где он и без тебя уже держит себя за горло.

На экране под воронкой светилась вторая моя любимая картинка — доска лидеров: фамилии сверху вниз, от тех, кто закрывает, к тем, кого скоро закроют. Доску придумали до меня, умные люди, понявшие про кнопки раньше. Публичный позор дешевле премии и держится дольше: премию проедают за неделю и забывают, а своё имя в самом низу списка, у всех на виду, человек носит в себе и по ночам, и оно гонит его к телефону лучше всякой платы. Я не изобрёл ни этой доски, ни этого страха. Я только умел ими пользоваться — как умеет мясник ножом, не думая о ноже.

— Кристина. Ты внизу, — сказал я.

Она подняла глаза. Двадцать шесть, умная — слишком умная для этого места, с той породой добросовестности, которая в продажах не выживает, потому что мешает лгать в нужный момент нужным голосом. Три недели назад у неё что-то стряслось дома; она пришла ко мне тогда — не жаловаться, за этим ко мне не ходили, а как приходят к стене, чтобы просто постоять рядом с чем-то твёрдым. Я выслушал ровно столько, чтобы она почувствовала себя услышанной, и ни секундой больше. Кивнул в нужных местах, придержал взгляд ровно на счёт три, сказал: понимаю. Сочувствие — тоже инструмент, если отмерять его по граммам; переложи грамм — и человек привыкнет опираться, а опора обходится дорого.

— У меня три клиента в дожиге, дозреют к пятнице... — начала она, и в голосе у неё дрогнула та самая надежда, которую я собирался сейчас погасить, потому что чужая надежда на будущее — плохой работник в настоящем.

— К пятнице квартал закрывается, а не начинается. — По отделу прошёл тихий смешок, который я вызываю одним движением брови: смешок стада, радующегося, что съели не его. Я знал цену этому смешку. Каждый из них через минуту мог оказаться на её месте, и каждый смеялся тем громче, чем яснее это понимал. — Клиенты не дозревают, Кристина. Это не яблоки. Они уходят к тем, кто позвонил первым. Ты не звонишь — ты ждёшь. Ты сидишь и надеешься, что они сами вспомнят про тебя и позвонят. Они не вспомнят. О тебе вообще никто никогда не вспомнит первым — запомни это, и половина профессии у тебя в кармане.

Она опустила голову; у неё покраснели уши, и она вцепилась в ручку обеими руками, чтобы не заплакать при всех. Я отметил это без злорадства и без жалости, как отмечают показания прибора. Плачет — значит, есть куда давить, значит, ещё жива, значит, ещё принесёт деньги. Перестанет реагировать — сгорела, выгорела дотла, пора менять на свежую. Пока держится — работает. Я знал этот график наизусть: сначала они горят, потом тлеют, потом гаснут и уходят в тот самый маркетинг, где не надо звонить, а на их место садятся новые, и всё повторяется, тихо и синим спиртовым огнём.

Я отвернулся от неё к доске.

* * *

А Кристина в эту минуту не видела ни доски, ни экрана, ни двенадцати чужих лиц вокруг — она видела только пятно света на столе перед собой и держалась за ручку так, будто это была единственная твёрдая вещь во всём стеклянном аквариуме.

Она пришла в эту фирму два года назад, гордясь тем, что взяли, что вот она — в настоящей взрослой работе, при костюме, при своём столе. Ей нравилось разбираться в клиенте по-честному: понять, что человеку правда нужно, чем ему помочь, — и первые месяцы она даже верила, что этим и живут продажи. Её быстро отучили. Она смотрела на Скорева — на этого серого, спокойного, немолодого человека, что говорил тихо и никогда не повышал голоса, потому что ему не нужно было повышать, — и не могла понять, из чего он сделан. Он всё видел. Он знал про неё то, чего она не говорила вслух: и про мать в больнице, и про то, что она третью неделю не спит, и про эти три сделки, в которые она вцепилась не из-за плана даже,

а потому, что за ними стояли живые люди, поверившие ей, и обмануть их доверие было ей физически больно.

Три недели назад она пришла к нему, дура, — думая, что он человек. Он выслушал. Кивнул. Сказал: понимаю. И она вышла тогда почти успокоенная, и только дома, ночью, поняла: он не понял ничего. Ему было всё равно. Он просто отмерил ей ровно столько тепла, чтобы она вернулась к телефону и работала, — и ни капель больше, как аптекарь отвешивает яд на весах. И вот теперь он стоял и говорил при всех, что о ней никто никогда не вспомнит первым, и самое страшное было в том, что он, наверное, прав.

Она вцепилась в ручку и решила, что не заплачет. Не при них. Не при нём. Она додавит эти три сделки к пятнице, назло, честно, по-своему, — а потом уйдёт. В маркетинг, куда угодно, где не надо каждый день продавать по частям собственную совесть. Она не знала ещё, что доживать этот квартал ей придётся уже без него. Никто в той переговорке не знал.

* * *

— Артём, — сказал я мягко. Мягко — всегда страшнее; на крик у человека есть готовая броня, обида, а на мягкость брони нет. — Что с Автоблеском?

Артём сглотнул. Двадцать четыре года, борода, чтобы казаться взрослее, оттого казался мальчиком с приклеенной бородой. У него подрагивали пальцы на мышке, и он то поднимал на меня глаза, то ронял их в экран, будто там могло дописаться спасение.

— Виктор Палыч, они думают. Говорят, дорого, говорят, у них и так клиенты хватает, говорят, потом, после праздников...

— После праздников. — Я подержал эти два слова в воздухе, чтобы он сам услышал, как они звучат. — Дай трубку.

Он дал. Пальцы у него были влажные, трубка легла в ладонь тёплой и чужой. Я сел на край стола, набрал номер, и, пока шли гудки — длинные, ленивые, провинциальные, — чувствовал знакомое: как затягивается пружина внутри, где-то под грудиной, туго и сладко, перед тем как отпустить её в чужое ухо. Двенадцать лет, а всё то же. Ответил хозяин автосервиса — немолодой, усталый голос, из тех, кто считает каждую тысячу дважды и оттого никогда не разбогатеет, потому что богатеют не те, кто бережёт, а те, кто не боится.

— Здравствуйте, — сказал я. — Не буду отнимать время. Вы правы: реклама — это расход. Отключайте.

На том конце запнулись. Он собирался спорить, готовил свои усталые доводы про дорого и про потом, а я согласился раньше, чем он открыл рот, и выбил у него из рук всё оружие разом.

— Только одно, — продолжал я в наставшую тишину, ровно, будто делился между делом. — Ваш конкурент через дорогу, Гараж-77, вчера удвоил бюджет. Знаете, что это значит? Что человек, который прямо сейчас сидит в своей машине и набирает в телефоне замена масла рядом, увидит их, а не вас. Не завтра. Сейчас, пока мы с вами говорим. Ваших клиентов забирают поштучно, тёпленькими, у вас из-под носа, а вы за это даже не платите — вы просто их отдаёте, бесплатно, соседу.

— Так у меня же...

— Я не уговариваю, — перебил я мягко, и снова пауза. Всегда пауза. Тишина в трубке давит на человека сильнее любых слов; он торопится заполнить её, и заполняет обыкновенно согласием, лишь бы она кончилась. — Я просто не люблю, когда умные люди дарят выручку тому, кто через дорогу над ними же и посмеивается. Продлеваем на квартал?

Он продлил. Они всегда продлевают, если правильно нажать на страх, — а страх потерять всегда сильнее радости приобрести. Это первое, что я понял в этой профессии, ещё зелёным мальчишкой с холодными звонками, и, кажется, единственное, что вообще стоит понять про людей: они не гонятся за счастьем, они бегут от боли, и кто стоит на пути их бегства с протянутой рукой, тот и снимает свою долю.

Я вернул трубку Артёму. В воронке на экране беззвучно упала вниз ещё одна сделка, отчиталась строчка, дрогнула цифра. Восемьдесят два процента.

— Учись, — сказал я. Без злобы. Мне не за что было его ненавидеть. Он был просто плохо настроенный инструмент — не сломанный, а не доведённый, и, может, из него ещё вышел бы толк, если бы он раньше меня понял, что бороду клеить бесполезно, а бояться в этой профессии можно только одного — самому поверить в то, что продаёшь.

* * *

В обед я не ел с ними. Я никогда не ел с ними. Спускался этажом ниже, в ресторан при бизнес-центре, где брал стейк средней прожарки и бокал красного — не потому, что любил вино, я к вину был равнодушен, а потому, что мог себе позволить, и потому, что человек, который в обеденный перерыв неспешно пьёт бокал, выглядит спокойнее того, кто грызёт над клавиатурой салат из пластикового контейнера. В моём деле выглядеть спокойным — половина дохода; клиент, партнёр, начальник — все они кожей чувствуют торопливость и нужду, как хищник чувствует раненого, и цену тебе назначают ровно по твоему беспокойству.

Официант принёс мясо, не спрашивая заказа. Молодой, гладкий, с заученной улыбкой и цепким, всё замечающим взглядом, он давно меня вычислил: я приходил сюда четырежды в год, в последнюю неделю квартала, всегда один, всегда за один и тот же столик у окна, всегда стейк средней прожарки и бокал красного. Он знал и мой заказ, и моё главное желание — чтобы меня не трогали разговором, — и обслуживал молча, одними глазами да руками, а я за это оставлял ему ровно столько чаевых, чтобы желание исполнялось и впредь, но не настолько много, чтобы он решил, будто мы теперь знакомы. Он поставил тарелку, пожелал приятного одними губами и растворился между столиками. Хороший мальчик. Понял про клиента главное и продал ему тишину — а тишину в этом мире, я убедился в этом позже сполна, купить труднее всего остального.

Я резал мясо и думал ни о чём, глядя, как за окном ползёт по мокрому асфальту серый московский день. Мне было пятьдесят, и я устроил свою жизнь так, как считал единственно разумным. Квартира — хорошая, чистая, тёплая, но не из тех, что показывают в сторис; я не любил, когда завидуют. Зависть — это внимание, а внимание — это расход, и притом самый скверный, потому что за него не платят, а платить приходится тебе. Одежда — дорогая, но серая: кашемир, который узнаёт только тот, кто сам такой носит, и не замечает никто больше. Женщины — когда хотелось и пока хотелось; жены не было и не предвиделось, потому что жена — это совместная собственность, а всякая совместная собственность рано или поздно делится пополам, я на разводах коллег видел это раз двадцать: как честные, неглупые люди в один месяц превращаются в тяжбу из-за кофемашины и метража. Никаких долгов, никаких обязательств, никаких людей, которым я был бы должен что-то, кроме денег, а деньги отдать легко — это единственный долг, который не тянет.

Я хотел немногого. Есть вкусно. Спать в тепле. Иметь, когда нужно, тело рядом и не иметь его, когда не нужно. И — главное — чтобы меня не трогали. Чтобы ни начальство, ни налоговая, ни бывшие, ни соседи, ни бог, если он где-то есть, не поворачивали в мою сторону головы. Жить сыто и невидимо. За пятьдесят лет я почти этого добился. Почти — потому что оставался ещё Гуров, а над Гуровым — план, а над планом — эта синяя, спиртовая, беспощадная цифра, которая не знала ни сытости, ни жалости и требовала себе крови четырежды в год.

Телефон дёрнулся на белой скатерти. Гуров, без здравствуй, без точки: Зайди.

* * *

Кабинет у Гурова был угловой, с двумя стенами стекла, и весь город лежал под ним — серый и мокрый, как и полагается городу в конце квартала. Отсюда, с высоты, люди внизу были не люди, а движение, поток, тёмные точки, что стекались и растекались по переходам, и я понимал, отчего он любит стоять тут спиной к двери и глядеть вниз: сверху легче считать людей штуками.

На столе у него не лежало бумаг — ни единого листа, ни ручки, ничего; только тонкий погашенный монитор да телефон экраном вниз. Гуров не работал руками. Гуров работал тем, что стоял у стекла и решал, а бумаги, звонки, живые люди и их страх были где-то внизу, тремя этажами ниже, там, где стоял со своей воронкой я. И я вдруг увидел нас обоих со стороны, ясно и холодно: он смотрит вниз на город и считает точки, я смотрю вниз на отдел и считаю кнопки, и надо мною он — такая же кнопка, как я над Кристиной; и над ним есть свой Гуров, и так до самого верха, до синей спиртовой цифры, которой не нужен никто из нас в отдельности. Вся эта башня стояла на страхе, этаж на этаже, и держалась ровно до тех пор, пока каждый боялся того, кто над ним, чуть сильнее, чем презирал того, кто под ним.

— Восемьдесят два, — сказал он, не оборачиваясь.

— К пятнице будет сто три, — сказал я спокойно, тем ровным голосом, каким докладывают о деле решённом. — У меня в работе на четыре миллиона, дожду половину, плюс prolongation по действующим. Я всегда закрываю квартал, Сергей Витальевич. Двенадцать лет.

— Двенадцать лет, — повторил он.

И в том, как он это сказал — не зло, не насмешливо, а задумчиво, взвешивая слова на ладони, будто монеты сомнительной чеканки, — я услышал будущее. Услышал, что двенадцать лет — это уже не заслуга, а срок годности; что где-то в этом самом здании, тремя этажами ниже, уже сидит мальчик вроде Артёма, только злее, голоднее и дешевле, который будет жать те же кнопки за половину моей зарплаты и называть меня динозавром в курилке, посмеиваясь, как посмеивается Гараж-77 через дорогу. Я всё это услышал разом, целиком, в одном коротком повторе двух слов, — и не почувствовал ничего, кроме привычной ровной усталости, той, что копится годами в спине у человека, слишком долго державшего лицо спокойным.

— Закрой квартал, — сказал Гуров, наконец оборачиваясь. — Потом поговорим о твоём отделе. Есть кое-какие мысли по реструктурингу.

Реструктуринг. Я кивнул. Восемнадцать лет кивков — у меня это хорошо получалось; я умел кивнуть так, чтобы человек напротив был уверен, будто я согласен, а на деле не сказать ни да, ни нет и ничем себя не связать.

* * *

А Гуров, глядя, как за чужаком мягко затворяется стеклянная дверь, ещё с минуту стоял и думал о Скореве — без ненависти, потому что ненавидеть было не за что, но и без тепла, потому что тепла к людям в нём не осталось давно, как не осталось его в самом Скореве.

Он ценил эту машину. Он двенадцать лет держал Скорева именно потому, что тот был машиной: не пил, не срывался, не просил, не болел, не влюблялся в клиентов, не выгорал, как выгорают эти нынешние сопляки. Приходил, закрывал квартал, уходил. За такое платят и такое берегут. Но всякая машина устаревает, и Гуров, который умел считать не хуже Скорева, видел цифры холодно: отдел стоил дорого, а Скорев стоил дороже всего отдела, и на его место рвались двое молодых, которые обходились втрое дешевле и жгли себя вдвое ярче, потому что им ещё было ради чего жечься. Молодой сгорит за три года и уйдёт, но за эти три года выжмет план, а на его место сядет следующий, и так дешевле, чем держать одного дорогого, который знает себе цену и оттого никогда уже не удивит.

Скорев был лучший из всех, кого он видел. Но лучший — это не тот, кого держат, а тот, кем восхищаются напоследок. Реструктуринг был решён ещё до этого разговора; разговор был данью — той минутой уважения, что палач иногда дарит достойному приговорённому, прежде чем сделать своё дело чисто. Гуров отвернулся к стеклу, к серому городу внизу, и уже думал о другом, о цифрах помельче, и не знал — да и не узнал бы никогда, — что человека, о чьей отставке он только что мысленно распорядился, отставят раньше и куда дальше, чем он мог распорядиться, и что уже отсчитаны этому человеку не годы и не месяцы, а минуты.

* * *

Я вышел, и в коридоре, у автомата с горячим кофе, случилось то, чего я не ждал.

Я не боялся Гурова. В этом было даже что-то, чем я тихо гордился: я всё устроил так, чтобы не бояться. На счетах лежало достаточно, чтобы, вычеркни меня Гуров хоть завтра, я встал, забрал пальто и ушёл не оглядываясь — в тот же вечер присмотрел бы квартиру поменьше, в другом районе, где меня никто не знает, снял бы деньги, лёг спать, а наутро жил дальше. Тихо. Сыто. Никому не должным. Я всю жизнь строил не карьеру — я строил запасной выход. Не привязываться. Не обрастать. Не пускать корней, за которые можно ухватить и выдернуть. Жена, дети, друзья, начальник, который считает тебя своим человеком, ученик, что смотрит на тебя снизу вверх, — всё это верёвки, а за верёвку тянут, и тянут всегда в самый неподходящий час. Я перерезал их одну за другой, год за годом, спокойно и без надрыва, пока не остался посреди собственной жизни свободный и один, как столб посреди пустого поля.

Я гордился этим столбом. Люди вокруг обрастали семьями, друзьями, ипотеками, собаками, чувством долга перед кем-то — обрастали, как днище корабля ракушками, и с каждым годом шли всё тяжелее, а чуть налетит буря — шли ко дну со всем нажитым, потому что не умели вовремя бросить. А я шёл налегке. Меня не за что было держать — а значит, не за что было и тянуть на дно. Всякую верёвку, что пыталась завязаться сама собой — приятельство, привычку, чужую благодарность, женщину, что задерживалась дольше отмеренного ей, — я перерезал спокойно и вовремя, пока она была ещё тонка, пока не выросла. Больно только первые несколько раз. Потом привыкаешь и режешь уже не глядя, как обрезают лишние нитки с готового платья.

И считал это победой. Пятьдесят лет — и никто в мире не мог сделать мне по-настоящему больно, потому что не за что было ухватить: ни одного человека, чья беда стала бы моей, ни одного, кто пришёл бы ко мне не за скидкой. Дома меня ждал вечер, какой я любил: тишина, хороший виски, которого не увидит гость, потому что гостей я не звал, ужин из ресторана в фарфоровой тарелке — я ел из фарфора и в одиночестве, это была единственная роскошь, какую я себе не запрещал. Всё серое, добротное, неброское, ничьего взгляда не цепляющее. Я разменял всех живых людей на покой и в тот день, у автомата с горячим кофе, всё ещё был твёрдо уверен, что сделка вышла выгодная.

Я не знал, что через минуту отберут и это. Что там, куда меня уже несло, не будет ни счетов, ни запасного выхода, ни фарфора, ни даже собственного тела, — и что первым делом придётся учиться не считать людей, а нуждаться в них, чего я не умел и не хотел уметь всю свою длинную сытую жизнь.

Пружина внутри — та самая, что я затягивал всё утро на других, на Кристине, на Артёме, на усталом хозяине автосервиса, — вдруг затянулась на мне самом. Резко, до отказа, без предупреждения, куда-то под левую ключицу, в плечо, в челюсть, будто кто-то невидимый повернул её одним движением до предела. Я поставил стакан на крышку автомата. Кофе был горячий, я это помню, — последнее тёплое, что было в той жизни, слабый пар над бумажным краем. Стакан я не выронил. Поставил ровно, аккуратно, не пролив ни капли. Меня так учили. Аккуратность.

Боль пришла второй волной, и она была не как в кино. Она была как чужая рука, что вошла под рёбра и медленно, без злобы, деловито сжала сердце в горсть — так я сам всю жизнь сжимал чужие сделки, спокойно и до последнего. Я успел подумать, зло и ясно: не сейчас. У меня план. Успел удивиться, до чего же это, оказывается, глупо — умирать за чужой план по чужой рекламе, у чужого автомата, в чужом коридоре. Ковролин переговоров был серый, он пах пылью и ногами — я узнал этот запах уже щекой, лёжа. Надо мной горели лампы, ровным офисным светом, в котором нет ни дня, ни ночи, а на дальнем экране беззвучно светила моя воронка. Восемьдесят два процента. Кто-то кричал, кто-то бежал, чьи-то кроссовки прошлёпали мимо самого лица, близко, я видел рифлёную подошву в налипшей уличной грязи. Никто не взял меня за руку. Да я бы и не позволил.

Сыто и невидимо, — подумал я, и это было почти смешно. — Вот и стал невидимым.

Свет в лампах сжался в точку, и точка погасла.

* * *

Первое, что вернулось, был запах.

Не пыль и ковролин. Запах ударил такой плотный, что я захлебнулся им, как захлёбываются водой, ухнув под лёд: гнилая солома, кислая моча, дым сырых дров, немытое человеческое тело, застарелый жир — и поверх всего сладковатая, тошная нота, которую я тогда не сумел назвать и о которой узнал много позже, что так пахнет гниющая рана и гнилые зубы во рту. Меня едва не вырвало, но выворачивать было нечем: желудок был пуст так, как у меня, сытого человека, не пустовал ни разу за пятьдесят лет. И пустота эта была не чувством, не лёгким подсасыванием под ложечкой перед обедом, — она была болью, отдельной, ноющей, злой, живущей своей жизнью где-то под рёбрами, там, где час назад сжимала сердце чужая рука.

Я открыл глаза. Надо мной был не потолок с лампами. Надо мной были доски — тёмные, растрескавшиеся, в лохмотьях паутины, с провисшей меж ними соломой, сквозь которую сочился грязно-серый, негреющий свет. Я лежал на чём-то, что кололо сквозь ветхую ткань спину и лопатки, и это что-то шуршало и пахло прелью. Было холодно — не как на улице, а как в погребу, сыростью, что заходит не снаружи, а изнутри, до самых костей, и я понял, что дрожу, дрожу давно и мелко, как дрожат от голода и лихорадки разом, и что дрожь эта началась, должно быть, задолго до того, как я очнулся.

Я хотел встать — и не сразу нашёл руки. А когда нашёл и поднёс к лицу, это были не мои руки.

Чужие. Худые, жилистые, с чёрной каймой под обломанными ногтями, с жёлтой коркой мозолей на ладонях, каких не бывает у человека, всю жизнь державшего только телефон да вилку, и со старым белым шрамом наискось через большой палец. Кожа задубелая, обветренная, в цыпках, с въевшейся навсегда грязью в складках, — чужая кожа чужого возраста. Я сжал пальцы в горсть — рука сжалась, послушная, слабая, и в этой послушности было самое страшное: руки были чужие, а слушались меня. Они были мои и не мои разом, и от этого раздвоения к горлу подкатывала тошнота хуже той, что от запаха.

Язык сам собою прошёлся по зубам — и я нащупал справа провал, голую дёсну, а рядом с ним гнилой, шатающийся зуб, отозвавшийся на прикосновение такой тягучей, отдающей в челюсть и в висок болью, что я зашипел. Зашипел не по-русски. Из горла вышел чужой, сиплый, сорванный выдох, и где-то в глубине черепа, помимо моей воли, всплыло слово — не русское, не английское, ни на что не похожее, — но я его понял. Холодно. Я понял его так же ясно, как понимаю свой родной язык, всем нутром, без перевода, и не понимал только одного: откуда я его знаю.

За стеной — тонкой, дощатой, в палец толщиной — кто-то натужно харкал, отхаркивался долго, с надрывом, и бранился между приступами кашля, тоже на чужом языке, и я понимал каждое слово, всякое грязное словцо и всякую божбу. Где-то далеко, ровно и тяжело, бил колокол — не запись, не рингтон, не звоночек лифта, а настоящая, литая медь, от низкого голоса которой чуть подрагивал самый воздух в этой камерке. Прокричал петух, надсадно и близко. Проскрипело несмазанное колесо. Человеческий голос заорал что-то про рыбу и про цену, зазывая, — плохо, безнадёжно плохо зазывая, надрывая глотку впустую, и я даже сквозь ужас отметил это профессиональным своим ухом: не так, всё не так, кто ж орёт цену, когда надо орать нужду.

Я сел. Тело послушалось с трудом, со стоном во всех суставах разом, будто было ему не сорок лет, а все семьдесят, и каждый из этих семидесяти прожит тяжело, впроголодь и на ногах. Камерка была в три шага из угла в угол. Гнилая солома в углу, на которой я лежал. Кривой чурбак, что стоял вместо стула. Глиняная миска с присохшей ко дну серой коркой давнишнего варева, с щербатым краем, обмотанным грязным тряпьем, чтоб не резало губу. Ни окна — только щель между разошедшимися досками стены, в которую сочился свет и тянуло

холодом и уличной вонью. А у самой двери, на притолоке, темнел ряд зарубок — глубоких, злых, сделанных ножом наспех и с силой, — и, глядя на них, откуда-то из-под черепа, из чужой, не моей памяти поднялся холодный, тяжёлый ком, и я понял: это счёт. Долг. Кто-то вёл счёт тому, что задолжало это тело. И зарубок было много. Слишком много для человека, у которого нет ничего, кроме гнилой соломы и щербатой миски.

Я смотрел на эти зарубки и поймал себя на дикой, вовсе неуместной сейчас мысли. Я всю жизнь вёл чужие счета — доски лидеров, воронки, проценты плана; я был человеком, который считает других. И вот меня самого внесли в чей-то счёт, вырезали ножом по дереву, грубо и наглядно, как считают тут, надо думать, всё: скотину, мешки зерна, дни, долги. Я стал теперь строкой в чужой воронке, в самом её низу, там, где падают вниз и списываются те, с кого больше нечего взять. И кто-то, ведущий этот счёт, рано или поздно придёт спрашивать по нему — не мягким голосом в трубке, не намёком на реструктуринг за стеклянной стеной. Придёт за телом, в котором я очнулся, а телу этому, судя по следам на запястьях и по ноющим под пальцами рёбрам, спрашивали уже не однажды.

Я ощупал лицо — чужое, худое, немолодое, с запавшими щеками, с колючей неровной щетиной, с острым, будто заточенным носом, с обтянутыми кожей скулами; лицо человека, который давно, всерьёз и безнадежно голодает. На запястьях, под коркой засохшей грязи, темнели старые, поджившие уже ссадины, кольцом, ровным следом, — и я понял, опять не своим знанием, а тем, чужим, что жило в этих костях помимо меня: от верёвки. Это тело вязали. Это тело били — я нашёл на рёбрах, надавив, отзыв старого, не до конца зажитого ушиба. Это тело кому-то много, страшно много задолжало, и с него это спрашивали не в переговорке и не по телефону.

На четвереньках — встать во весь рост я не рискнул, ноги не держали, — я добрался до щели в стене и приник к ней глазом. Свет резанул, слезающийся, серый, но после темноты каморки нестерпимый. За стеной был не двор, а кривой узкий проулок, залитый жидкой, чёрной грязью до середины голени; по этой грязи, увязая при каждом шаге и с чмоканьем выдирая ноги, брёл человек в буром некрашеном рядне, подпоясанный обрывком верёвки, и тащил на согнутой спине большую вязанку хвороста, и лица его я не видел — только спину, только это вечное движение вниз согнутого горбом человека.

В дверном проёме дома напротив стояла баба — простоволосая, немолодая, с серым плоским лицом, — и выплёскивала из деревянной бадьи прямо в проулок что-то мутное, помойное, что тут же смешивалось с общей грязью; выплеснула, поглядела мёртвыми, ничего уже не ждущими от нового дня глазами вдоль улицы и ушла обратно в темноту дверей. Никто не поднял на неё головы, и она ни на кого. Мимо, шлёпая по жиже босыми ногами, пробежал мальчишка лет семи, тощий, с раздутым от голода животом, прижимая к груди что-то завернутое в тряпку, и юркнул в щель между домами так быстро и воровато, что я, ещё не зная в этом мире ровным счётом ничего, понял сразу: краденое. Мир за стеной жил, ел и воровал по своим законам, старым как эта грязь под ногами, и меня в этих законах не значилось вовсе — а значит, надо было либо вписаться в них, либо сгинуть, и второе выходило куда проще первого. Дальше, там, где проулок вливался в улицу пошире, серо, тесно и медленно двигались люди, много людей, и над ними висел тот самый гул, что я слышал ещё сквозь беспмятство, — не гул продаж, не гудение общего зала за стеклом, а гул толпы, торга, брани, скотины и колёс, живой, густой и насквозь чужой. Крыши были крыты почерневшей дранкой и прелой соломой. Ни одного стекла нигде. Ни одного провода в сером небе. Ни единой буквы, какую я сумел бы прочесть, — только над низкой дверью напротив висел на ржавом крюке облезлый деревянный сапог, и я понял, не читая, сразу: сапожник. Вывеска для тех, кто не знает грамоты. Для таких, каким я, выходит, теперь стал.

Я лежал в чужом голодном теле, на гнилой соломе, в дощатой холодной каморке, и снаружи жил, дышал, торговал и бранился целый город, которого не должно было быть. Не боль-

ница. Не бред умирающего под лампами, не последняя вспышка гаснущего мозга, о какой пишут в статьях. Пахло слишком точно, болело слишком честно, холод был слишком настоящим, а колокол — слишком тяжёл и низок для сна. Во сне не ноет гнилой зуб. Во сне не хочется так есть.

Я, Виктор Скорев, который всю жизнь считал людей воронкой, а себя — умнее их всех, поднёс к глазам чужие руки нищего, повертел их так и эдак в сером свете, и впервые за пятьдесят лет не понял ровным счётом ничего — кроме одного.

Кто-то очень крупный всё-таки повернул в мою сторону голову.

Глава 2. Инвентаризация

Паника — это когда не знаешь, что делать. У меня не было времени на панику, потому что паника ничего не продаёт. Она только сжигает — время, силы, человека — и ничего не оставляет на дне, кроме золы да головной боли под утро. Я усвоил это давно, ещё зелёным, когда впервые сорвалась крупная сделка и я всю ночь мерил шагами съёмную комнату, грыз себя и выгрыз к рассвету ровно ничего. С тех пор я запретил себе роскошь бояться вслух. Бояться можно — но молча и с пользой; страх, если его не кормить, а запрячь, тянет телегу не хуже жадности, а иногда и лучше, потому что жадность засыпает сытой, а страх не спит никогда.

Я не знал ровным счётом ничего: ни где я, ни в каком году, ни как меня теперь зовут, ни почему на притолоке над дверью зарублен ножом чей-то долг. Но само незнание было мне привычно, как привычна портному игла. Двенадцать лет я входил в чужие кабинеты, где не знал ни людей, ни их цифр, ни того, кто из сидящих за длинным столом уже подписал в уме мой приговор, — и первое, что я делал всегда, прежде чем открыть рот, прежде чем улыбнуться и сказать первое пустое слово, — считал. Что у меня есть. Чего нет. Чего хочет тот, кто напротив, и чего он боится так сильно, что заплатит. Где здесь можно пожить и где — сдохнуть. Это делалось само, без моего участия, как дышится; и вот теперь, в этой вонючей дыре, оно же само собой и включилось, и я даже был ему рад, потому что это было единственное во мне, что не изменилось.

Я привалился к стене — она подалась, гнилая, мягкая под лопаткой, как палый гриб, и пахнула в лицо холодной плесенью и мышами — и стал считать.

Актив первый и единственный вещественный я нашёл не сразу. Пришлось обшарить всю ту прелую солому и тряпьё, которым я был укрыт, перебрать её горстями, и труха забила мне под ногти, и что-то мелкое, живое, брызнуло из-под пальцев в угол. На дне, у самой стены, завалились две медные монетки. Стёртые, лёгкие, тонкие, как ноготь; на одной ещё держался профиль какого-то бородатого господина в остром венце, на другой не осталось и профиля — одна оспина металла да край надписи. Буквы были — а слов не было. Глаз мой скользил по ним и не цеплялся ни за что, соскальзывал, как соскальзывает нога с обледенелой ступени, и я поймал себя на том, что читаю их в третий раз и в третий раз ничего не понимаю. Я, который в той жизни читал договор по диагонали и находил заложенную в него мину с третьего абзаца, здесь был неграмотен, как этот бородатый на монете, как бык, как дверной чурбак. Две медяшки. Я стиснул их в ладони — ладонь была чужая, жилистая, с чёрной каймой под ногтями, — и это было всё, что у меня было в целом мире.

Актив второй — тело. Я осмотрел его трезво, как осматривают подержанный товар перед тем, как сбить цену, — и товар был плох, товар был из тех, что берут только на разбор. Сорок лет, я это знал откуда-то наверняка, но сорок таких лет, каких мои московские пятьдесят не выхаживали и наполовину. Рёбра можно было пересчитать вслепую, одно за другим, как чётки. Живот прилип к хребту изнутри. Руки в жёлтых мозолях, твёрдых, как рог; ногти обломаны, два сорваны с мясом и почернели. Справа во рту тихо, деловито гнил зуб и тянул из челюсти в висок ту ровную ноющую боль, которая не убивает, но и не даёт забыть о себе ни на минуту. На запястьях, под коркой засохшей грязи, темнели старые ссадины — ровным кольцом, следом от верёвки. Кто-то это тело вязал. Кто-то бил его, и не вчера, и не один раз, — я нащупал под пальцами на боку старый, не до конца рассосавшийся отзвук удара. Кто-то кормил его ровно настолько, чтобы оно не сдохло раньше, чем отдаст то, что задолжало. В той жизни я по утрам бегал вдоль реки, дышал, считал шаги и ел на ужин стейк средней прожарки с бокалом красного, к которому был равнодушен. Здесь я был голодной битой скотиной, и голод был не чув-

ством, не лёгким подсасыванием перед обедом, а гвоздём, вбитым в брюхо по самую шляпку, и всякий раз, как я шевелился, гвоздь этот проворачивался.

Актив третий я приберёг напоследок — не из бережливости, а потому, что на него была вся надежда, а надежду, как и деньги, тратят в последнюю очередь. То, что в голове. И вот тут, сидя на гнилой соломе в три погибели, в чужом теле, я провёл самую честную ревизию за две свои жизни — без прикрас, без скидок себе, как свёл бы книгу перед лицом ревизора, которого нельзя купить.

Порох? Я не знал, из чего он. Что-то про уголь и про серу — и что-то ещё, третье, самое главное, без которого весь уголь и вся сера так и останутся грязью, а какое именно это третье, школьная химия унесла с собой лет тридцать назад, вместе с формулами и лицом учительницы. Сталь? Понятия не имел. Что-то про углерод, про закалку в масле или в воде — на уровне присказки, а не дела; дай мне горн и молот, и я испорчу железо вернее любого подмастерья. Электричество — об этом смешно было даже думать, сидя в темноте, где ближайший огонь — это лучина да чужой очаг. Медицина? Мыть руки, кипятить воду, не пить из лужи, не гадить там, где ешь, — вот и весь мой лазарет, вся моя мудрость, за которую в моём веке не дали бы и медяка, потому что её и без меня знала всякая чистоплотная баба. Я не был инженером. Не был лекарем. Не был кузнецом, стеклотуовом, мельником, оружейником. Всё то, чем набивают головы попаданцам в тех дурацких книжках, что читал по вечерам сын моей секретарши и пересказывал мне в лифте, захлёбываясь, — всё это было не про меня. Я не привёз с собой ни одного чертежа, ни одной формулы, ни единого ремесла, которое можно потрогать руками.

Я умел одно. Я умел людей.

Я умел посмотреть на человека и за минуту, за то время, пока он выговаривает первую свою фразу, знать, чего он боится и чего хочет так сильно, что заплатит и ещё спасибо скажет. Умел заставить его купить то, что ему не нужно, и уйти довольным, унося это домой, как добычу. Умел ставить цену не по тому, во что вещь обошлась мне, а по тому, сколько стоит в этот час чужая жадность и чужой страх. Умел зазвать, разжечь, дожать, удержать; умел построить дюжину живых людей в линейку и выжать из каждого больше, чем он думал в себе иметь, и сделать так, чтобы он ещё и благодарил меня за то, что я его выжал. Всю свою жизнь я считал это ремеслом второго сорта — не то что паять, лечить, строить мосты. Считал, что верчу воздух. И вот теперь, в вонючей каморке чужого города, где-то на самом дне неведомого мне века, я вдруг понял медленно и ясно, как понимают выгодную сделку: я, кажется, привёз с собой единственный товар, которого здесь ни у кого нет.

Я усмехнулся про себя, одними губами, — вслух смеяться было больно, отдавало в зуб. В той жизни я презирал своё ремесло. Считал, что настоящие люди строят, лечат, судят, растят хлеб, а я всего лишь надуваю в человеке нужду, которой у него не было, пока я ему не позвонил, и снимаю с этой пустоты свою долю. Гуров называл меня лучшим, и я знал цену этому слову: лучший из тех, без кого мир прекрасно, легко, ни на день не поперхнувшись, обошёлся бы. А здесь выходило иначе. Здесь этот самый воздух, это умение надуть нужду и назначить ей цену, и был, быть может, самой твёрдой валютой на свете — в мире, где все умеют пахать, ковать, ткать и молиться и никто, ни единая душа, не умеет продать плоды своих рук дороже, чем сосед у соседнего лотка. Умение, которого я стыдился, здесь могло оказаться на вес того серебра, какого у меня не было.

Оставалось выяснить одно: есть ли на этот товар спрос. А для этого надо было встать и выйти, потому что рынок не приходит к тебе в каморку — на рынок идут ногами.

Я встал. Мир качнулся, поплыл, в глазах потемнело от голода до черноты с искрами, и я переживал эту черноту, вцепившись в гнилой косяк, пока она не отступила. Ноги держали — еле, дрожа в коленях, но держали. Я толкнул дверь — низкую, кривую, из ссохшихся серых досок, что не сходились между собой, — и шагнул наружу, в белый режущий свет.

* * *

Первое, что сделал город, — ударил.

Ударил в нос, в глаза, в уши сразу, всем разом, как бьёт волна, когда неосторожно повернёшься к ней спиной. Проулок был залит жидкой чёрной грязью до середины голени, и в грязи этой плавало всё, что город из себя выбрасывал, — щепы, кости, гнилая ботва, что-то бурое и мягкое, о чём лучше было не думать; а вдоль стен, по самому краю, была протоптана скользкая узкая тропа, и по ней, прижимаясь плечом к домам, чтобы не увязнуть, боком, гуськом, тёрся народ. Дома лепились друг к другу, кривые, косые, в два этажа, и верхние этажи выступали над нижними так далеко, почти сходясь кровлями, что небо оставалось только серой рваной щелью где-то высоко над головой. Пахло всем сразу и всем сильно: дымом сырых дров, гнилью, мочой, дублёной кожей, дёгтем, кислой шерстью, немытыми телами — и откуда-то, из-за угла, тонкой ниткой сквозь всю эту вонь тянуло печёным хлебом, и от этого хлебного духа у меня свело челюсти судорогой, слюна набежала под язык, а гнилой зуб отозвался такой болью, что на глаза выступили слёзы, и я не сразу понял, от боли они или от голода.

Мимо, обдав меня своим запахом, боком протиснулся человек в буром некрашеном рядне, подпоясанном обрывком верёвки, согнутый пополам под вязанкой хвороста; лица я не увидел — только тёмную жилистую шею да седые космы, — он и не поднял головы, ему некогда было смотреть по сторонам, у него на спине был его день. За ним, покачивая деревянным коромыслом, прошлёпала баба с двумя бадьями воды, расплёскивая её на грязь, будто грязи было мало; вода в бадьях была не чище лужи под ногами, и я, ещё ничего тут не зная, уже знал, отчего у людей такие лица. У стены, в самой жиже, сидел безногий на низкой дощечке с колёсиками, тянул к прохожим сложенную лодочкой ладонь и не говорил ни слова, только смотрел снизу вверх, в самые лица; и никто не смотрел на него в ответ — он давно уже стал тут частью стены, как мокрое тёмное пятно, как трещина, которую перестают замечать через день. Я тоже прошёл мимо, скользнув взглядом и тут же его отняв, и поймал себя на том, что делаю это так же привычно, как делал всё в той жизни: мимо просящего, мимо чужой беды, не задерживаясь, потому что чужая беда ничего не приносит, а внимание к ней стоит денег и времени.

Я пошёл на запах и на гул. Гул нарастал с каждым шагом, густел, обрастал голосами, скрипом, стуком, ржанием; проулок вильнул, стиснулся, потом вдруг раздался в стороны — и вылился на площадь. Рыночную, я понял это сразу, с одного взгляда, ещё не разглядев ни одного товара, — понял по тому, как стояли люди. И вот тут я на минуту забыл про голод, забыл про зуб, про холод, про две медяшки в ладони.

Потому что они не умели торговать. Совсем. Ни на грош.

Они стояли. Просто стояли за своими лотками, корзинами, разложенными на рогоже кучками — молча, с серыми, погасшими лицами людей, отбывающих тяжёлую повинность, которую отбывали и отцы их, и деды. Баба с репой смотрела в землю перед собой, будто высматривала там оброненную монету. Мужик с рыбой вяло отгонял с товара мух мокрой тряпкой и глядел куда-то поверх голов, мимо покупателей, словно те были ему помехой. Никто не зазывал — кроме одного, надрывавшегося где-то в рыбном ряду так бездарно, что я поморщился, как морщатся от фальшивой ноты: он орал цену. Просто орал цену, снова и снова, одно голое число, — а надо орать не цену, надо орать нужду; цена — это то, чем заканчивают, а не то, чем начинают. Никто не разложил товар лицом, самой красивой стороной к идущему. Никто не свёл рядом дешёвое с дорогим, чтобы дорогое рядом с дешёвым показалось вдруг выгодой. Никто, ни одна душа, не задумался, отчего человек, у которого в горсти всего-то два жалких пфеннига, отдаст их именно ему, а не соседу справа с точно таким же товаром и точно таким же мёртвым лицом. Они выставили своё и ждали. Ждали, пока голод и слепой случай сами пригонят к ним покупателя, как ленивый рыбак ждёт, сидя на берегу, что рыба, соскучившись, сама выпрыгнет к нему в лодку.

Я стоял в грязном рванье, с двумя медяшками, голодный до черноты в глазах, — и смотрел на эту площадь так, как смотрел когда-то на пустую, нетронутую воронку продаж, где ещё

никто не работал по-моему, где всё лежало непочатым. Незанятый рынок. Целый город, целый, быть может, мир, который не знает, что такое продать.

Я двинулся вдоль рядов, медленно, по краю, и та часть меня, что не умирала, кажется, и под наркозом, принялась считать чужие ошибки хладнокровно, как ревизор считает недостачу, — по головам, по строчкам, с тихим злым удовольствием.

Баба с репой навалила товар одной грязной кучей, вперемешку — крупную с мелкой, тугую с подгнившей, — и сидела над этой кучей сычом, нахохлившись. А надо было отобрать десяток лучших, отмыть их в ведре до розовой чистоты, выложить горкой на видное место, крупное и мытое вперёд, гнильё под низ, с глаз долой, — и не бубнить в землю репа, репа, а приговаривать, ловя прохожего за самый взгляд: утрешняя, сладкая, с росой ещё, детишкам в самый раз, бери, хозяин, вторую задаром почти отдаю, — и та же самая её репа ушла бы вдвое дороже и вдвое быстрее, и она сама не поняла бы, за что ей такое счастье. Рыбник орал цену — глупейшую вещь, какую только можно орать над прилавком: цену называют последней, шёпотом, наклонившись, когда покупатель уже захотел и стыдится своего хотения; а орать надо свежесть да нехватку — последняя осталась, вон ту, гляди, уже забирают, опоздаешь; — а рыба лежала у него тусклым серым боком кверху, брюхом в грязь, вместо того чтобы играть на скудном свете мокрым живым серебром, за которое рука сама тянется к кошельку. Суконщик — сухой, важный, в чистом кафтане — развернул перед собой штуку и вправду доброго сукна и держал её на отлёте, на вытянутых руках, оберегая, чтобы не лапали грязными пальцами; а весь фокус, вся тайна ремесла в обратном — дать пощупать, всучить в руки, накинуть на плечо: рука, единожды тронувшая товар, наполовину его уже купила, и это знает всякий, кто хоть раз в жизни что-нибудь кому-нибудь продал. Здесь этого не знал никто. Ни один.

Пирожник ходил сквозь толпу с лотком на ремне и молчал — с лотком горячей, готовой, дымящейся на холоде еды, которую можно сунуть голодному под самый нос, вложить в руку, дать откусить в долг единого укуса, после которого не откупишься, — а он нёс её мимо голодных ртов и молчал, потупясь, будто стыдился своего лотка. Пивная баба цедила мутное пиво из бочки в глиняные кружки и брала со всех поровну — и с чёрного от работы грузчика, и с гладкого сытого купчика в суконном кафтане, — хотя купчик, назови она то же самое пиво крепким, стоялым, для господ хороших особо держу, отдал бы за него и втрое, да ещё и загордился бы. Горшечник, костлявый старик с воспалёнными веками, расставил свой товар на голой земле сплошь, без разбору, добрый горшок рядом с треснутым, большой возле малого, — и покупатель, не умея выбрать глазом, где тут лучшее, топтался, топтался да и уходил ни с чем; а свяжи он лучшие свои три горшка на видном шесте, повыше, отдельно, назначь им гордую цену, а всё остальное свали внизу как товар попроще — и высокая цена наверху сама продала бы ему то, что внизу. Старуха с пучками сухих трав, слепая на один затянутый бельмом глаз, бубнила себе под нос названия — зверобой, полынь, чабрец, — бубнила в бороду, для себя, а не для людей, тогда как ей бы ловить хворого за рукав да сулить облегчение от той самой хвори, что написана у него на сером лице. Каждый из них, каждый божий день, изо дня в день, оставлял на своём столе, в своей грязи деньги, которые сами шли в руки, лежали и просились, — и не поднимал их с земли только потому, что не знал, что они там лежат.

Все они делали одно и то же, одно на всех: выставляли товар и ждали. Ждали, как ждут погоды, как ждут дождя или вёдра, — покорно, тупо, отдав себя на волю неба. Никому, ни единой голове на всей этой площади не приходило в голову простое, как палка: покупателя можно не ждать. Покупателя можно сделать — разжечь в нём хотение, которого минуту назад не было; назначить цену не товару, а его страху опоздать; увести его за руку от соседа. Я смотрел на всё это, и в пальцах у меня зудело давнее, почти забытое, сладкое чувство — то самое, с каким берёшь чужую заваленную, безнадёжную сделку и за одну минуту, несколькими словами, ставишь её на рельсы.

У самых рыночных ворот, где толпа была гуще всего, приткнулась харчевня — низкая, вросшая в землю, тёмная, с облезлой деревянной вывеской, на которой не разобрать было, что намалёвано: не то котёл, не то месяц, не то и вовсе ничего. Внутри, в дыму и полумраке, сидело от силы двое, над пустыми мисками; а хозяйка, крупная, угрюмая баба в засаленном переднике, с красными руками, гоняла грязной тряпкой мух с пустых столов и глядела на дверь так, будто от каждого входящего ждала беды. Место было проходное, у самых ворот, где всякий путник входит в город голодным и усталым, — лучшее место в целом городе, — а дело умирало у неё на глазах, тихо, как непоенный цветок. Я скользнул по всему этому взглядом и, помимо воли, прикинул в уме, быстро, привычно: сменить эту слепую вывеску на понятную, чтоб издали ясно было — тут кормят; пустить запах горячего варева на улицу, к воротам, поставить котёл так, чтоб дымил на прохожих; зазывалу на угол, мальчишку с лужёной глоткой, чтоб голодный путник учуял мясо и услышал про него ещё за десять шагов до дверей... И одёрнул себя. Не сейчас. Рано. Сначала — не сдохнуть. Сначала дожить до вечера, а там видно будет.

По площади, ныряя под локтями и лотками, шнырял мальчишка — босой, лет десяти, чумазый до черноты, с быстрыми, живыми чёрными глазами, которыми он обшаривал не товар, нет, — он обшаривал людей. У кого отвис на поясе кошель, кто зазевался на торге, кто добр лицом, а кого лучше обойти стороной. Единственный на всём этом сонном рынке, кто, как и я, торговал не репой и не рыбой, а людьми, — только по мелочи, украдкой и на свой страх. Он поймал мой взгляд на лету, в одно мгновение оценил моё рванье, мои голые пятки, впалые щёки, понял, что взять с меня нечего, что я такая же дырка от кошель, как он сам, — и отвернулся, отвёл глаза быстрее, чем я успел додумать про него мысль. Быстрый. Очень быстрый. Я запомнил это лицо.

И тогда, стоя посреди чужого рынка с двумя медяшками в горсти, голодный, битый, безымянный, я поймал первую за весь этот страшный день по-настоящему тёплую мысль. Здесь, в этой грязи, в этой немоте, среди этих погасших лиц, я был не битым нищим Мартеном, кем бы этот Мартен ни был. Здесь я был единственным зрячим в городе слепых. И всё, что мне нужно, — единственное, что нужно, — это не показать своего зрения никому. Слепой, который вдруг у всех на глазах прозрел, кончает на костре как колдун или в яме у ростовщика как чужая пожива; а тот, кто тихо, исподволь, чужими руками устраивается жить чуть сытнее прочих, — такого не трогают, такого не замечают, потому что он не торчит. Вот и вся моя воронка на этот новый век: неприметно, тихо, без единого лишнего движения есть досыта в городе, который не умеет продавать.

Голод, притихший было, напомнил о себе так, что свело живот, и я, забыв про мудрость, протолкался локтями к хлебному ряду, на тот самый запах, что вёл меня от каморки. Женщина в переднике, красная лицом, широкая в кости, с могучими голыми по локоть руками, торговала караваями да мелкими плоскими лепёшками, разложенными на чистой холстине, — единственный чистый лоскут на всей площади, и я это отметил: она хоть что-то, да делала не как все. Я подошёл, ткнул чёрным пальцем в лепёшку и разжал ладонь, показывая монеты. Она глянула на меня, потом на медяшки, потом снова на меня, и широкое красное лицо её сложилось в такую гримасу, будто ей под самый нос сунули дохлую крысу за хвост.

— Опять ты, — сказала она. Не спросила — сказала, тяжело, с той усталой, застарелой злостью, с какой говорят с давним, надоевшим должником. — Деньги? У тебя? Мартен, ты у меня в позапрошлую ярмарку три лепёшки взял в долг, побожился к субботе отдать, а как суббота — так и рожу отворотил, будто и не видал меня сроду. Клади монету сюда, на холстину, и проваливай. И чтоб духу твоего тут не было.

Мартен. Значит, я — Мартен. Хорошо. Уже что-то, уже строчка в графе. Мартен брал в долг и не отдавал, божился и обманывал, и его тут знают, и знают недобро — так недобро, что баба готова скорее спустить меня с рынка, чем взять мою же монету не глядя. Всё это я сложил, спрятал и подшил к делу в один удар сердца, ничем не выдав лицом, что слышу это

имя впервые в жизни. Я положил на холстину один пфенниг, взял лепёшку, и баба выхватила монету так проворно и цепко, будто боялась, что я передумаю или что медяшка сама уползёт обратно.

Лепёшка была из грубой тёмной муки пополам с чем-то — отрубями, а может, и толчёной корой, кто их тут разберёт, — жёсткая, кислая, с песком на зубах. И всё-таки, когда я вгрызся в неё чужими зубами, осторожно, на левую сторону, подальше от гнилого, это было лучшее, что я ел за две свои жизни, — лучше стейка, лучше всего, что подавали мне на белых скатертях. Тело взяло своё, не спросясь меня: я сожрал эту лепёшку в шесть укусов, стоя, давясь, глотая почти не жуя, и едва удержал руку, которая сама тянулась подобрать с грязной ладони упавшие крошки и отправить их следом. Один пфенниг. Остался один. И когда кончится он, кончится и еда, потому что больше взять неоткуда, занять не у кого — имя Мартена на этом рынке стоит меньше самой стёртой медяшки, и это я теперь тоже знал точно.

Вот тогда, дожёвывая последний жёсткий кусок, я и понял окончательно, до конца, спокойно, без надрыва и без слёз, всё, что мне нужно было понять, чтобы жить дальше.

Я застрял. Это не бред, не горячка, не больничная палата под лампами, не последняя вспышка гаснущего мозга, о какой пишут в умных статьях. Пахло слишком точно, болело слишком честно, лепёшка была слишком настоящей на зуб. Это надолго. А может, и навсегда, до самой смерти в этом чужом теле. Тело чужое, битое, изношенное, голодное. Имя — с дурной славой и с долгом, которого я не брал. Денег — один медяк, последний. Читать не умею. Драться не умею и, судя по этим рукам и рёбрам, драться мне тут будут часто и умело. Ремесла не знаю ни единого. Родни, друзей, покровителя, запасного выхода, счёта в банке, второй квартиры на другом конце города — ничего из того, чем я так тихо гордился в прошлой жизни, чем отгородился от всех, — здесь нет и не будет. Я гол, как в тот день, когда меня, орущего, вынесли из матери, — только теперь мне сорок чужих лет, во рту гниёт зуб, а за спиной чей-то долг, зарубленный ножом по дереву.

И есть только одно. Голова. Умение продать, разжечь, дожать. Единственный мой капитал — и его придётся вкладывать тихо, по грошу, с оглядкой, потому что нищий, который вдруг ни с того ни с сего начинает подниматься со дна, притягивает к себе взгляды, а взгляды здесь, я уже чувствовал это всей ободранной шкурой Мартена, стоят дорого. За них платят. Платят верёвкой на запястьях, как уже платило это тело, — а то и верёвкой на шее. Мне не нужно было становиться тут ни королём, ни богачом, ни цеховым старшиной. Мне нужно было немного, самую малость: набить брюхо и не пустеть в нём; согреться и не мёрзнуть; обзавестись своим углом, дверью, которая запирается, и чистой рубахой на плечи. И чтобы при этом никто — ни ростовщик, ни цех, ни судья, ни господа в замке на горе, кто бы там ни сидел, — не повернул в мою сторону головы.

С этим планом — с единственным своим активом в черепахе и половиной лепёшки в брюхе — я и повернул назад, к своей кривой двери, к гнилой соломе, чтобы сесть, отдышаться и думать спокойно, как играть этот рынок, с какого лотка и с какого лица зайти.

Додумать я не успел.

* * *

А хлеботорговка, глядя ему в спину, пока он не растворился в толпе, ещё долго стояла, тяжело дыша, и в широкой её груди медленно оседала злость, к которой примешивалось что-то другое, чему она и названия не знала.

Она держала этот лоток семнадцатый год, ещё от матери, и всякого гольтыбу перевидала, всяких пропойц и должников, что берут корку в долг и клянутся всеми святыми, а после прячут глаза. Мартена она знала давно и знала как облупленного: пустой человек, гнилой, из тех, кто скорее подохнет под забором, чем отдаст занятое. Оттого-то она и облаяла его, как облаяла бы всякого, привычно, для порядка, чтоб знал своё место и не повадился. Но сейчас, отпуская ему вслед взгляд, она поймала себя на том, что глядит ему в спину и хмурится не от злости

уже, а от какой-то бабьей смутной тревоги. Что-то в нём было сегодня не то. Пришибленный вроде, оборванный пуще прежнего, вон как шатает с голоду, — а глядел не по-нищенски. Не заискивал, не канючил, не отводил, как раньше, слезящихся собачьих глаз, не сулил отдать второе. Стоял себе тихо и смотрел на неё, на её лоток, на её руки — быстро, цепко, будто пересчитывал, будто прикидывал ей самой цену, как барышник кобыле. От этого взгляда ей стало не по себе, хоть она и не смогла бы сказать почему. Померещилось, дура старая, решила она наконец и в сердцах смахнула тряпкой крошки с холстины. Померещилось. С голоду у человека и не такое во взгляде встанет. Отдал же монету, не то что прежде. И она перекрестилась коротко, сама не зная от чего, и отвернулась к своим караваям, к живым, тёплым ещё, — и забыла о нём прежде, чем подошёл следующий покупатель.

* * *

У кривой моей двери меня ждали. Двое.

Широкие в плечах, оба в добротных, справных, вовсе не по-нищенски куртках толстой кожи, с той ленивой, разлитой по всему телу уверенностью, какая бывает только у людей, привыкших бить и давно отвыкших получать сдачи. Они не таились, не прятались за угол — стояли открыто, у всех на виду, посреди грязного проулка, и прохожие, я заметил, огибали их по широкой дуге и ускоряли шаг, опустив глаза. Один, помоложе, лениво жевал соломинку, катая её из угла в угол рта, и смотрел на меня без всякого выражения, как смотрят на мешок, который сейчас предстоит тащить. Второй, увидев меня, медленно ухмыльнулся, показав крупные жёлтые зубы, и не спеша отлепился от стены, к которой прислонялся плечом.

— Мартен, — сказал он почти ласково, почти нежно, как окликают старого доброго знакомого. — А мы уж думали, ты помер. Ей-богу, думали. Клаас велел кланяться. Срок твой вышел ещё на той неделе, друг ты наш сердечный. Пойдём-ка, потолкуем про долг по-хорошему. Хозяин ждать не любит.

Глава 3. Ростовщик

Первое, что я сделал, — просчитал драку. По привычке, за полсекунды, ещё прежде, чем тело успело испугаться, — так, как считал всю жизнь всё, что вставало у меня на пути: не людей, а расклад, столбик в уме, где по одну сторону прибыль, по другую убыток, и надо только вывести чистое.

Тот, что жевал соломину, был на голову выше меня и вдвое шире в кости. Он стоял, привалившись плечом к сырой стене, и работал челюстью медленно, лениво, будто ему всё на свете давно скучно, и эта его сонная скука пугала сильнее злобы: злого можно раззадорить, отвлечь, переиграть, а такому просто велели привести меня — и он приведёт, а если велят сломать, сломает так же неторопливо, не переставая жевать. Второй был пониже, зато с руками молотобойца и с перебитым носом, и нос этот был перебит и сросся вкривь не единожды, а раза три, слоями. А перебитый вот так, не раз, нос у мужчины его лет говорит вещь простую и окончательную: бить его пробовали многие, многие годы, — и он всё ещё здесь, на ногах, при деле, а те, кто пробовал, — уже нет.

Я перевёл весь этот расклад на язык тела, в котором теперь сидел, — среднего роста, худого, голодного, с руками слабыми, отвыкшими от всякой работы тяжелее пера, — и в столбике вышел простой, чистый, не терпящий возражений ответ: ноль. Ни ударить, ни убежать. Ноги в этом теле подгибались от голода на ровном месте, а этих двоих кормили, видно, справно, для того самого и кормили. В этом мешке костей я не одолел бы и мальчишку с рынка, что кланчил утром медяк, не то что вот этих, кому ломать чужие рёбра — ремесло не хуже кожевенного.

Значит, драки не будет. Оно и к лучшему. Драка — это разговор для тех, у кого нет других слов, последний довод голытьбы и дураков. У меня слова были. Слова всю жизнь были моим единственным и вполне достаточным оружием, и умирать оттого, что я в кои-то веки о них забыл, я не собирался.

— Идём, — сказал я и шагнул сам, первым, будто это я их позвал, а не они за мной пришли.

Мелочь, но важная. Кто делает первый шаг, тот, пусть на волос, но ведёт. Тот, кто идёт впереди по своей воле, — уже не совсем добыча, а вроде как хозяин положения, и это оседает в чужой голове само, помимо ума, на том зверином дне, где решается, кто кого. Я усвоил это давно, в устланных ковром кабинетах, где перегрызали друг другу глотки без единой капли крови, — и, как выяснилось, в мокрых варенских проулках всё работает ровно так же. Люди везде одинаковы. Меняются только ставки.

* * *

Вели меня через полгорода, и я, пока вели, работал: смотрел, запоминал, считал. Другого дела у меня всё равно не было, а знание — единственный товар, что можно набрать даром, покуда тебя гонят под серым небом на расправу.

Улицы были кривые, немощёные, разъезженные, они стекали вниз, к невидимой пока реке, и вся жижа города стекала по ним туда же. Под ногами чавкала грязь, в которой мешалось всё, что льют и бросают из домов, и я старался ступать по камням да по горбам подсохшей глины, а тело слушалось плохо. Вонь то наваливалась стеной — у кожевен, где в чанах кисли шкуры в моче и извести, и от одного этого воздуха мутило и слезились глаза; у мясных рядов, где под тучей жирных синих мух истекали кровью колоды, — то ненадолго отпускала, и тогда сквозь неё пробивался дым очагов, мокрая шерсть, прелая солома, кислый дух дешёвого пива из открытой двери харчевни.

Народ жался к стенам, уступая моим провожатым дорогу. Не бросая дел, не поднимая глаз надолго, а так — привычно, как уступают телеге или бешеной собаке. Толстая баба с кор-

зиной мокрого белья на бедре молча вдавилась в нишу и прикрыла корзину рукой, будто мы могли отнять и бельё. Водонос с двумя бадьями на коромысле сошёл в самую жижу, лишь бы не задеть, и глядел в землю. Тощий мальчонка, тащивший отцу в мастерскую горшок с чем-то горячим, шарахнулся так, что чуть не расплескал, и мать выдернула его за шиворот в подворотню, зашипев. Безногий нищий на дощечке с колёсиками, сидевший у водостока, при виде Ганса и Отто торопливо, суетливо отгрёб руками в тень, будто у калеки было что взять. Их тут знали. Знали в лицо и знали, чью работу они делают, и работа эта была из тех, при виде которых честный человек вспоминает, что у него есть неотложное дело в другом конце улицы.

Значит, Клаас в этом городе — сила. Не из тех, кого носят на золочёных носилках и перед кем ломают шапки на площади, а из тех, кому должны. Кому должны молча, кого поминают шёпотом и от чьих людей отгребают в тень даже безногие. А это, я по опыту обеих жизней знал твёрдо, сила куда надёжнее всякой громкой. Громкого можно скинуть, оболгать, пережить. А тому, кому ты должен, ты принадлежишь весь, с потрохами, покуда не расплатишься, — и он это знает, и ты это знаешь, и от этого знания никуда не деться.

На спуске к реке я оскользнулся — глина тут была жирная, как масло, а ноги в этом теле отвыкли держать даже собственный малый вес, — и уже завалился было в грязь, когда тот, что повыше, по имени, как я узнал после, Ганс, не глядя, коротким тычком в лопатку вернул меня на тропу. Тычок был почти небрежный, вполсилы, между делом, будто отпихнул с дороги неживую вещь. Но меня мотнуло, как соломенное чучело на ветру, повело, и я едва не влетел лицом в мокрую стену, ободрав ладонь о камень. Вот и весь расклад, коротко и ясно, если бы я вдруг о нём забыл, размечтавшись о словах и о первом шаге: этот человек переломит меня одной рукой, между делом, не сбив дыхания, даже не глянув, кого ломает, и таких в городе не двое, а тысячи, а я тут один — тонкий, слабый, чужой, без роду и без имени, за которое стоило бы держаться.

Я проглотил унижение целиком, разом, и не стал его копить, как проглатывал прежде злость начальства, что было поглупее меня, но повыше сидело. Злость — плохой советчик и дорогой товар; я давно, ещё в той жизни, отучил себя держать её в груди, где она гниёт и травит хозяина, а научился тратить с толком, обращать в холодный расчёт. Тычок в спину сказал мне лишь одно, чисто деловое, без обиды: всякий мой план, в котором придётся хоть раз поднять руку, замахнуться, ответить силой на силу, — обречён заранее, гроша не стоит, можно и не начинать. Замахиваться мне попросту нечем. Значит, все мои планы отныне будут другого разбора — те, где бьют не рукой, а словом, счётом да чужой корыстью. У меня, если честно перед собой, всю жизнь только такие планы и были; просто раньше за проигрыш не ломали пальцев и не топили в реке, а самое большее — снимали с должности да выписывали к чёрту.

У колодца на маленькой площади, где грязь была утоптана потвёрже, силач с перебитым носом остановился, перегнулся через сруб, зачерпнул бадейкой из чьего-то оставленного ведра, отхлебнул шумно, утёрся тылом ладони и сунул черпак мне, не столько из жалости, сколько чтобы не возиться потом с трупом по дороге.

— Пей, доходяга. А то помрёшь на ногах, с меня Клаас спросит.

Я посмотрел на воду. Мутная, чуть желтоватая, с соломинками и какой-то взвесью, из открытого колодца посреди города, где в двух шагах, под горой, текло в реку всё, что текло из кожевен, из мясных рядов, из выгребных ям и отхожих канав. В той, прежней жизни я знал слова, каких тут не знал ни один лекарь, — знал про невидимую заразу в такой вот воде, про то, как быстро она валит с ног, выворачивает наизнанку и хоронит истощённого человека, у которого нет сил даже на понос. И знал ещё одно, решённое накрепко ещё в первое здешнее серое утро, когда я очнулся в чужом теле на вонючем тюфяке: хмельного я в этой жизни в рот не возьму ни капли. Не оттого, что праведник, — праведников тут едят на завтрак, — а оттого, что трезвая, ясная голова здесь мой единственный, весь мой капитал, и пропивать его в мире, где пьют от первых петухов до последних, а трезвый на подозрении, я не собирался ни за что.

Но между этой мутной колодезной водой и жидким кислым пивом, которое тут хлещут вместо воды именно потому, что его варят и оно оттого безопаснее, выбор для человека, знающего про заразу, был невелик.

— Спасибо, не хочу, — сказал я ровно.

Он хмыкнул, повёл кривым носом, будто я сморозил несусветную глупость или сказал, что не хочу дышать. И то. Здесь отказаться от питья, когда суют, — дичь, вроде как отказаться от подаяния или от бабы; человек, который на жаре и в дороге не пьёт, либо хворый, либо блаженный, либо себе на уме, а всех троих тут не любят. Я мысленно поставил зарубку, холодно, между делом: не пить с людьми — придётся объяснять, и не раз, и всякий раз это будет цеплять чужой глаз, а мне надо не цеплять. Ладно. Придумаю после, чем прикрыться, — хворью, обетом, чем угодно, ложь тут дешева. Пока — вода из чужого ведра подождёт до той, что я вскипячу сам, если доживу до своего очага.

Живот подвело так, что перед глазами поплыли серые круги и к горлу подкатила слюнная тошнота, и мысль сама собой свернула туда, куда сворачивала всё чаще за этот бесконечный день, — на еду. Не на хлеб. Хлеб я сегодня ел, три чёрствые лепёшки, за которые, как выяснится после, был ещё и должен, и хлеб этому телу не помощник, хлеб только гасит на час пустую резь в брюхе. Телу нужен был белок — мясо, яйца, рыба, сыр, бобы, — то, из чего строятся мышцы и кровь, а не то, чем набивают кишки, чтоб не урчали до вечера. Я смотрел искоса на своё запястье, торчащее из рваного рукава, — тонкое, как у подростка, с голубой жилкой под кожей, — и понимал холодно, по-тренерски, как понимал бы, глядя на новичка: чтобы этот мешок костей снова стал телом, на которое можно опереться, которым можно жить и в котором можно драться, его надо месяцами, изо дня в день, кормить мясом и гнуть работой. Мясо тут дорого, мясо тут — почти деньги; но яйца должны быть дешевле, и рыба в речном-то городе, и дешёвый овечий сыр, и бобы. Я перебирал в уме дешёвые источники белка этого мира так же деловито, как перебирал когда-то статьи чужого бюджета, ища, где урезать и где прибавить, — и вдруг поймал себя на том, что впервые за весь день думаю не о том, как не сдохнуть нынче к ночи, а о том, как дожить до следующего месяца окрепшим. Хорошая мысль. Правильная. Так думают не жертвы, что считают часы до конца, а игроки, что считают ходы. А мясо здесь — деньги. Ещё одна причина их добыть. У меня всё в этом мире сходилось теперь к одному, простому и чистому, как решённая задача: добыть денег. Тихо и много. Тихо — чтоб не заметили. Много — чтоб хватило откупиться от всего, что заметит.

* * *

Отто — так, я узнал после, звали кривоносого силача — шагал позади доходяги и ни о чём таком не думал, потому что думать было не о чем.

Он повидал их без счёта, таких вот, кого вели от должника к хозяину и обратно, и знал их наперёд, как мясник знает скотину. Этот был из доходяг, из тех, что не брыкаются и не воют, а идут тихо, — с такими меньше возни, и Отто их за это про себя даже жаловал, насколько он вообще мог кого-то жаловать. Одно было чудно, и это чудное еле-еле царапало по краю его медленного ума: доходяга шёл впереди сам, ровно, будто не на расправу его волокут, а он сам куда-то по делу собрался, и оскользнувшись, не заскулил и не глянул с мольбой, как глядят все, а только поджал губы да утёрся. Отто такого не любил и любить не умел, для него это было неправильно, не по чину должника, но и разбираться в этом он не стал: не его печаль. Велят — доведёт. Велят после — сломает, аккуратно, как ломал уже многих, начиная с пальцев, потому что от пальцев быстрее всего умнеют и зовут родню за деньгами. А покуда пусть идёт да пусть отказывается от воды, дурень; Отто своё дело сделал, воду поднёс, чтоб не пала животина по дороге, — а сдохнет всё одно, так на то воля хозяйская, не Оттова.

* * *

Дом Клааса стоял на улице менял — каменный, приземистый, в два жилья, с крепкой окованной дверью и коваными же решётками на нижних окнах, за которыми тускло желтел

изнутри свет. Единственный каменный дом на всю кривую деревянную улицу, где прочие лепились друг к другу боками, кренились, нависали верхними ярусами над проходом и грозили сложиться от первого пожара. А этот стоял тяжело и прямо, врос в землю, и глядел на соседей своими решётками сыто и спокойно. Деньги любят камень. Деньги всегда садятся в камень, едва их накопится столько, что становится страшно за нажитое, — так было и там, в стеклянных башнях, только там камень звался иначе.

Внутри пахло не роскошью, а бережливостью. Это два разных запаха, и я их различал с закрытыми глазами. Пахло чистым воском, чернильным орешком, сухим старым деревом конторок и ларей, холодной золой в скупом топленном очаге — и ни щепки, ни тряпицы, ни лишней плоскости нигде, всё на счету, всё при деле. Дом человека, который не тратит на то, чего не видят чужие, потому что тратить на себя, когда никто не смотрит, кажется ему прямым убытком.

За высокой конторкой у окна, поближе к скупому свету, сидел сам Клаас Крюгер. Сухой, лет шестидесяти, с длинными жёлтыми пальцами и с лицом, на котором за всю его долгую жизнь, кажется, ни разу не дрогнул зря ни один мускул: лицо, приученное не выдавать ни радости от прибытка, ни досады от убытка, потому что и то и другое на переговорах стоит денег. Я не знал о нём ничего. Ровно ничего. Ни сколько задолжал ему прежний хозяин этого тела, Мартен, ни на каких условиях брал, ни в какой срок, ни каким этот Мартен был в его глазах — трусом, наглецом, размазнёй. Я входил в этот разговор слепым, как входят в тёмную комнату, о которой известно лишь то, что по стенам её развешаны ножи; и всё, что мне оставалось, — читать хозяина быстрее, чем он прочтёт мою слепоту, и не дать ему понять, что я читаю по складам.

Рядом с ним, за конторкой пониже, скрипел пером тощий писарь — молодой ещё, с жидкими волосами, с чернильной коростой на пальцах и на манжете, с той брюзгливой поджатостью губ, какая бывает у мелкого служки, что кормится при большой силе и оттого мнит частицу этой силы своей. Он пересчитывал столбик на навощённой табличке, водя по ней костяной палочкой, и на меня едва глянул — как на цифру, которую сейчас впишут в приход или спишут в убыток, всё одно возни на полстроки.

Клаас поднял на меня глаза — светлые, выпцветшие, спокойные, оценивающие, — и я узнал этот взгляд, как узнают запах давно знакомой комнаты. Так смотрел на меня Гуров, мой последний хозяин там, за смертной чертой, когда прикидывал, выжать из меня ещё квартал или уже пора менять. Так, чего греха таить, смотрел и я сам — на подчинённых, на клиентов, на всякого, кто входил в мой кабинет со своей нуждой. Взгляд человека, который видит перед собой не человека с его страхом, голодом и надеждой, а строку в отчёте: актив либо пассив, прибыль либо убыток, и всё прочее в этой строке — лишнее, пометки.

— Мартен, — сказал он без выражения, будто отметил про себя погоду. — Ты жив. Хорошо. Мёртвые платят плохо. — Он чуть повёл жёлтым пальцем в сторону писаря, не оборачиваясь. — Сколько за ним?

— Четыре талера и семь грошей, — прошелестел писарь, не поднимая глаз от таблички. — С ростом за два месяца.

Четыре талера семь грошей. Я не знал ещё, много это или мало по здешним меркам, я и монет-то здешних толком в глаза не видал, кроме давешнего одинокого пфеннига. Но по лицам силачей за моей спиной — они как раз ухмыльнулись оба, я это почуял затылком, — понял довольно: столько, что этому телу их не отдать и за целый год подёнщины на самой чёрной работе. Столько, за сколько сперва ломают пальцы, потом рёбра, а после, если и это не помогло, продают самого должника в долговую кабалу, в счёт долга, — и вот тогда он и вправду отрабатывает своё, только уже не собой распоряжаясь.

И тут писарь, ведя костяной палочкой вниз по табличке, чтобы показать хозяину, откуда взялся рост, чуть сбился — задержал палочку, поправился. Я увидел это раньше, чем успел

понять, что вижу, — тем отдельным куском мозга, что считает сам, без спроса, помимо моей воли, всю мою жизнь, во сне и наяву, на похоронах и на свадьбах. Он заложил рост от неверного дня. Прибавил лишнюю неделю. Не в свою пользу, не воруя, а по небрежности, спеша, — но прибавил, и лишняя эта неделя дала лишку. Не в хозяйскую сторону перекося — в мою. Долг по его же табличке выходил меньше на добрых пять грошей.

Пять грошей. Тех самых, за которые тут день гнут спину. Дневной заработок взрослого мужика. Для меня, у которого в горсти лежал один-единственный медный пфенниг, — сегодня целое состояние, разница между голодом и куском мяса. И самое умное, самое чистое, самое выгодное, что мог сделать человек в моём положении, — это промолчать. Смолчать, дать писарю ошибиться в мою пользу, кивнуть и принять долг поменьше. Пять грошей из ниоткуда, задаром, за одно молчание.

Я не промолчал.

— Писарь ошибся, — сказал я ровно, в тишину. — Не в вашу пользу, мастер Крюгер. Он взял рост с лишней недели, заложил на семь дней больше, чем прошло. Там не семь грошей роста, а два. Долг — четыре талера и два гроша.

В комнате стало очень тихо. Стало слышно, как оплывает свеча и как за окном, на улице, кто-то катит бочку по камням. Писарь вскинулся, побагровел пятнами, схватился за табличку обеими руками, будто её отнимали, забегал по ней глазами. Клаас медленно, не спеша, перевёл выцветший взгляд с меня на писаря, задержал на нём — писарь съёжился под этим взглядом, — потом так же неспешно обратно на меня. И вот тут, впервые за весь разговор, в его сухом лице что-то дрогнуло, шевельнулось. Не доброта, боже упаси, доброты в этом лице не было отродясь и быть не могло. Внимание. Живое, острое, холодное внимание хищника, который вдруг увидел, что добыча, которую он уже занёс в приход, повела себя не как добыча, — и надо разобраться, что это значит, потому что непонятное на торгу опаснее убытка.

— Ты поправляешь счёт в мою пользу, — сказал он тихо, почти без голоса, одними губами. — Против себя. Зачем?

Вот он. Тот самый миг, ради которого я всю дорогу молчал, глотал тычки и считал. В моём прежнем ремесле это называлось скучным словом — точка доверия. Прежде чем человек хоть что-нибудь у тебя купит, прежде чем поверит в товар и в цену, он должен один-единственный раз убедиться, что ты ему не врёшь. И дешевле всего эту первую веру купить, отдав человеку маленькую, ничего тебе не стоящую выгоду там, где он твёрдо ждал обмана, — обмани его ожидание обмана, и он твой. Я только что подарил Клаасу пять грошей чужого, Мартенова долга, — не своих, заметьте, чужих, мне не принадлежавших, — чтобы взять у него взамен то, что стоило много дороже пяти грошей: минуту. Одну минуту, когда он меня не бьёт, а слушает.

— Затем, мастер Крюгер, что вам невыгодно меня бить, — сказал я так же ровно, глядя ему прямо в выцветшие глаза, как смотрят на равного через стол переговоров, а не как смотрит снизу вверх должник, которого пришли ломать. — Посчитайте сами, вы это умеете лучше меня, у вас на то вся жизнь ушла. Забьют меня насмерть ваши люди — вы получите мёртвого Мартена и ровный ноль, и ещё возни с телом. Сломают руки да ноги — получите калеку, который не заработает и медяка, а кормить его надо, стало быть, снова ноль, да ещё и в минус. Продадите в кабалу — выручите за такого доходягу четверть долга, дай бог, и распишетесь в потере трёх четвертей. Все ваши ходы, мастер Крюгер, всякий до единого, ведут в убыток. — Я выдержал паузу, ту самую, что давит на человека сильнее любых слов, и договорил тише: — А я пришёл предложить прибыль.

— Ты, — сказал Клаас. Не спросил — усомнился вслух, взвесил на языке. — Нищий, который не отдал и хлебнице за три лепёшки.

Значит, вот оно что. Хлебнице. За три лепёшки. Я подшил и эту мелочь к тому немногому, что знал о Мартене: мелкий должник, из тех, что вязнут в грошовых долгах и оттого никогда не выберутся. Тем лучше — тем ниже начальная цена, тем виднее будет рост.

— Я, — сказал я спокойно. — Тот самый нищий, который сейчас, с одного взгляда, стоя на ваших ногах и с вашего же голоса, нашёл ошибку у вашего писаря, — ошибку, которой сам писарь не заметил за два месяца, куда вёл эту строку. — Писарь при этих словах дёрнулся и открыл было рот, но Клаас, не глядя, повёл пальцем, и тот закрыл. — Дайте мне срок вместо побоев, мастер Крюгер, — и я верну вам не четыре талера, а больше. У вас ведь есть и другие должники. Такие, с кого ваши люди уже ничего не выбили, сколько ни бились. Дайте мне месяц. Я не попрошу у вас ни гроша вперёд, ни на хлеб, ни на дорогу — ничего. Если через месяц вы не получите с меня больше, чем стоит вся эта возня, — тогда и ломайте, я никуда не денусь, вы сами знаете, что не денусь, бежать мне некуда и не на что. Вам это не стоит ничего. А прибыль, коли выйдет, — вся ваша.

Я говорил и видел, как это в нём поворачивается, оседает, считается. Он был не злодей. Злодеи, настоящие, что мучают ради самого мучительства, — редкость, их мало, и с ними трудно, их не переспоришь выгодой. А он был счётчик. Такой же, как я, как Гуров, как всякий, кто мерит мир прибылью и убытком, — и я говорил с ним на его родном языке, на языке чистой цифры, единственном, который такие люди слышат по-настоящему, всем нутром. Всё прочее для них шум. А жадность в человеке, я знал это твёрдо, всегда в конце концов пере-крикивает осторожность, если только правильно, вслух, у него на глазах посчитать, где лежит недобранное.

— И что же ты можешь, чего не могут они? — Клаас, не оборачиваясь, чуть повёл подбородком в сторону моих провожатых у двери. — Ганс и Отто выбивают долги пятнадцать лет. Силой. А в тебе где сила, доходяга? Покажи.

— Нет во мне силы, мастер Крюгер, вы сами видите. — Я развёл в стороны тонкие руки, вывернул ладонями кверху, показывая всю свою немощь, всё, чем мне нечем грозить, — и в этой открытой, честной слабости было в тот миг больше веса, чем в любой угрозе, потому что она была голой правдой, а правду люди чувствуют нутром и на правду ведутся. — Силой берут один раз. Пришли, ударили, забрали, что нашлось в доме, — и всё, конец. Должник после этого либо сбежал из города, либо слёг, либо затаился и озлобился, и больше вы с него не возьмёте и медяка, хоть режьте. Сила превращает живого должника в мёртвый убыток, в перечёркнутую строку. А я умею иначе. Так, чтобы человек заплатил — и остался должен ещё немного, с уговором. Чтобы пришёл платить сам, своими ногами, и ушёл довольный, что дёшево отделался, и завтра привёл соседа. — Я сделал паузу и назвал наконец то, ради чего вёл весь этот разговор от первого шага в проулке: — У вас ведь полны таблички мёртвых строк, мастер Крюгер. Должников, с которых Ганс и Отто уже выбили всё, что вообще берётся силой, — и с которых теперь ровный, глухой ноль. Для вас это списанный убыток, чернила, зря переведённый воск. Отдайте их мне. Тех, кого вы уже похоронили. С них я подниму то, что вы схоронили. А что принесу сверх моего собственного долга — поделим по-честному: доля вам, доля мне. Вам — чистая прибыль из мёртвой бумаги, палец о палец не ударив, не послав никого, ничем не рискуя. Мне — двадцать дней жизни.

Я замолчал. Ровно на этом. Дальше давить было нельзя ни словом — кто на торгу заговорит первым в тишине, кто первым покажет, что ему невтерпёж, что ему до зарезу нужно, тот и проиграл цену, тот уже торгуется из слабости. Я просто ждал, глядя ему спокойно в переносицу, между бровей, будто мне и вправду всё равно, будто я предложил и могу с тем же лицом уйти, — хотя от голода перед глазами уже плыли и качались серые круги, пол уходил из-под слабых ног, и в наставшей тишине я почти слышал, как там, за его выцветшими белыми глазами, сухо пощёлкивают невидимые костяные счёты.

* * *

Клаас Крюгер глядел на этого доходягу и думал, что за сорок лет своего ремесла не видел ничего подобного.

Он знал Мартена. Не близко — таких не знают близко, — но знал, как знает заимодавец всякого своего мелкого должника: пустой человек, из вечных, из тех, что берут грош, чтоб заткнуть грош, и вязнут, и тонут, и с них в конце концов берёшь чем придётся, потому что деньгами уже не возмёшь. Тихий, вороватый, трусоватый, глаза в пол. Клаас и посылать-то за ним велел без нужды, больше для острастки прочим, чтоб видели: со двора Крюгера мёртвыми не уходят даже гроши.

А привели вот это. Оно поправило счёт против себя. Клаас смолоду знал цену такому ходу, сам его иной раз пускал в дело против крупных клиентов — подарить малое, чтоб взять большое, купить доверие грошом. Но чтоб этак, с ходу, стоя на расправе, голодным, чужим, — это была работа, чистая работа, и рука, поставившая её, была не Мартенова. Мартен так не умел, Мартен только скулил да божился. Этот же считал вслух его, Клааса, собственными деньгами, его языком, и всё выходило верно: и про мёртвого должника, и про калеку, и про кабалу — всё так, всё в убыток, он и сам это знал, да не любил додумывать. А тот додумал за него и выложил на стол.

Что-то с ним стряслось, с Мартеном, думал старый ростовщик, и это было единственное, что его по-настоящему тревожило, потому что непонятого в делах он не терпел: непонятое — это всегда чей-то нож в темноте. Может, ударили по голове, бывает, что после удара человек делается иным. Может, притворялся все годы. А может, и вовсе не Мартен. Но эту последнюю мысль Клаас отбросил как вздор: людям не свойственно меняться телами, свойственно врать да считать. А вот считать этот умел, и умел так, что у самого Клааса, глядевшего в это голодное скуластое лицо, впервые за долгие годы шевельнулось нечто вроде интереса — тот сухой, коллекционерский интерес, с каким меняла разглядывает незнакомую, непонятной чеканки монету, ещё не зная, фальшивая она или дороже золота, но уже не в силах положить обратно. Пусть попробует, решил Клаас. Двадцать дней. Не месяц — месяц слишком щедро, а щедрость есть убыток. Двадцать. Проку не выйдет — ломаем, как собирались, невелика потеря, ноль так ноль. Выйдет прок — тогда у меня в руках окажется вещь подороже четырёх талеров, вещь, какой нет ни у одного менялы на этой улице. И оттого, что расклад был чист и не грозил убытком ни при каком исходе, Клаас позволил себе то, что позволял себе изредка и всегда с расчётом, — любопытство.

* * *

Клаас молчал долго, невыносимо долго. Писарь замер над своей табличкой, боясь скрипнуть пером. Силачи за спиной переступили с ноги на ногу, засопели, не понимая, отчего хозяин тянет и не даёт привычной отмашки ломать.

— Складно врёшь, — сказал наконец Клаас, и в сухом голосе его не было ни похвалы, ни угрозы, одно раздумье. — Мартен так не говорил никогда. Мартен вообще не говорил, Мартен скулил. Что с тобой стряслось, а? — Он не ждал ответа и не получил его; я лишь смотрел, и он, помолчав, чуть прищурился. — Ладно. Мне любопытно. А любопытство я себе изредка позволяю — оно дёшево, дешевле вина и баб. Даю тебе не месяц. Месяц — много. Даю двадцать дней. — Он вдруг подался вперёд над конторкой, и голос его не сделался громче ни на волос, но в нём вдруг проступило железо, холодное и ровное, как те решётки на его окнах. — Двадцать дней, Мартен. Принесёшь мне прибыль — поговорим дальше, тогда и о доле, и об остальном. Не принесёшь или, того хуже, вздумаешь сбежать из города — я найду тебя в любой канаве, в любом подвале, под любым мостом, у меня руки длинные и памятливые, ты видел. И тогда мои люди будут работать без спешки. С удовольствием. Долго. Ты понял меня?

— Понял, — сказал я.

— Пошёл вон. И запомни: теперь я на тебя смотрю. — И он опустил глаза к своим табличкам, обмакнул перо, и я перестал для него существовать — до срока, ровно до того дня, когда снова обращусь в строку, в прибыль либо в убыток.

Меня не столько вывели, сколько вытолкнули за окованную дверь, на улицу, под низкое серое небо, что висело над городом, как мокрая шерсть. Дверь глухо стукнула за спиной, лязгнул засов. Двадцать дней. Я стоял, ощупывая языком случившееся, как ощупывают ноющий зуб. Ни гроша за душой, кроме давешнего пфеннига, ни имени, за которое стоило бы держаться, ни силы в руках, ни друга, ни угла — только двадцать дней сроку да голова на тонкой шее. Негусто. Но я выторговал себе эти двадцать дней там, где мне полагалось выйти со двора Крюгера с переломанными пальцами, а то и не выйти вовсе, — и уже за одно это день можно было считать прожитым не зря.

И ещё — тело. Тело, которое надо кормить, и кормить с толком, иначе к сроку Клаасу нечего будет и ломать, помрёт само. Я провёл языком по гнилому, шатающемуся заднему зубу, который придётся, видно, рвать, ощупал сквозь рваньё выпирающие рёбра — можно было пересчитать все — и разложил всё по порядку, по полочкам, как раскладывал когда-то, с чашкой кофе, утренние задачи на белой доске в стеклянном кабинете. Первое — еда, настоящая, мясная, белковая: на голодную, плывущую голову хорошо думается недолго, а думать мне предстояло много и быстро. Второе — понять этот город: что здесь продаётся плохо и кому это плохо продающееся можно продать хорошо, и кто они такие, эти мёртвые должники Клааса, за которых я так легко, так красиво взялся, не зная о них ровным счётом ничего. Третье, и самое важное, — проделать всё это, не высунувшись, не заблестев, не привлекая внимания кого-нибудь пострашнее старого ростовщика; ибо ростовщик — это ещё цветочки, а над ним, я уже чувствовал, есть в этом городе и цеха, и стража, и церковь, и всякий, кто не любит чужаков, что вдруг пошли в гору невесты с чего. Три задачи. Двадцать дней. Один медный пфенниг в горсти.

В прошлой жизни, дай мне кто такой расклад — воронку, срок и ставку, — я сделал бы себе на нём имя лучшего в отделе, выжал бы, отчитался и получил премию. Здесь на таком раскладе люди просто жили. Или не жили. Третьего тут не водилось.

Я стоял на улице менял, у единственного каменного дома на всей кривой улице, чувствуя спиной его сытые холодные решётки, и — странное дело, я сам себе удивился — не чувствовал страха. Страх был утром, и днём, и вчера. А сейчас под ложечкой, поверх сосущего голода, поднималось совсем другое, давно забытое, чего я не чувствовал в той, прежней, сытой и мёртвой жизни уже много лет, — азарт. Тугой, злой, живой азарт игрока, которому сдали плохую карту, но всё же сдали, и партия ещё идёт. Мне снова дали воронку и срок, как когда-то давал Гуров, и снова надо было превратить ничто в нечто, пустую строку в прибыль. Только теперь на кону стоял не чужой квартальный план по продаже рекламы, до которого мне, если честно, всегда было плевать, — на кону стояла моя собственная шкура, тонкая, битая, голодная, но моя. И впервые за две прожитые жизни это было по-настоящему, до дрожи в пустом животе, интересно.

Оставалось найти, что и кому в этом сером городе я продам первым.

Глава 4. Чужой товар

К полудню осенняя ярмарка у Южных ворот Варена перевалила через свой хребет и медленно, тяжело покати́лась вниз, к вечеру, и я чувствовал этот спад всем нутром, как чувствует его всякий, кто хоть раз стоял за прилавком собственной жизни.

С утра тут было не протолкнуться. Крестьяне с окрестных сёл, ремесленный люд, приезжие перекупщики, бабы с корзинами, дети под ногами, стража у ворот, что лениво сидела пошлину со всякого воза, — всё это гудело, толкалось, торговалось, пахло навозом, дымом, печёным хлебом и человеческим потом под низким серым небом. А теперь, к полудню, гул стал жиже. В рядах появились прорехи, как во рту у старика; кто распродался и ушёл, кто, отчаявшись, сворачивал товар. Солнце — бледное, негреющее северное солнце — перевалило за середину и покати́лось к стенам, и вместе с ним катилась вниз надежда тех, кто с утра ждал большой выручки и теперь понимал: не будет её и в этот раз.

Покупатель схлынул. А оставшийся на лотках товар из надежды на прибыль на глазах превращался в обузу — в то, что надо тащить обратно, за версту, по грязи, через те же ворота, где стража сдерёт пошлину уже за выезд, а дома выслушать попреки жены да лечь спать с пустым кошелём и полной корзиной.

Вот на этом кислом, оседающем к вечеру отчаянии я и решил сегодня заработать.

Считать мне было почти нечего, и я сосчитал быстро. У меня был один медный пфенниг, тело, которое шатало от голода так, что перед глазами плыли тёмные мухи, имя, которому тут не верили и за которое гнали, и двадцать дней срока, отпущенного мне ростовщиком Клаасом, прежде чем его люди примутся за мои кости. Товара у меня не было. Лавки не было. Ремесла, каким тут кормятся, — тоже. Ничего, кроме головы.

Но головой я и жил всегда — обеими жизнями. В той, прежней, за смертной чертой, у меня тоже не было ни станков, ни складов, ни своего товара; я продавал чужую рекламу, брал процент с чужих денег и понял на этом самую доходную истину на свете: не обязательно владеть, чтобы наживаться. Довольно встать в том узком месте, где у одного есть товар, а у другого — нужда, и они не могут найти друг друга сами. Довольно свести их и взять долю за то, что свёл. Посредник не сеет и не жнёт, а ест сытнее пахаря. В той жизни я звался красиво — руководитель отдела продаж. По сути же я всю жизнь стоял вот в этой самой щели между чужим товаром и чужой нуждой и стриг с неё своё.

А тут, на варенской ярмарке, эта щель зияла пустой. Здесь каждый стоял над своей кучей и ждал, тупо и обречённо, когда покупатель сам догадается подойти. Никто не сводил, никто не брал процент за сведённое. Место посредника, самое тёплое место на всяком торгу, было свободно.

И я собирался его занять — сегодня же, потому что завтра нечего будет есть.

Оставалось найти самого отчаявшегося. Того, кому терять уже совсем нечего, — а такой на любом торгу к вечеру всегда сыщется.

* * *

Я прошёл ряды дважды, медленно, читая не товар, а лица, — этому меня учить не надо было ни в той жизни, ни в этой.

Баба с вялой, подвядшей за день зеленью — нет, не она: товар копеечный, с него доли не наскребёшь, да и сама она ещё не дошла до края, ещё лается бойко с покупателями. Горшечник, сумрачный детина, — нет: горшки не киснут и недохнут, ему спешить некуда, он и завтра постоит. Сапожник свернулся уже и ушёл. Точильщик дремал над своим камнем. Рыбник — тот самый, что и в первый мой день орал цену вместо того, чтоб орать нужду, — сидел над потускневшим товаром злой и красный, но рыба его хоть тухла, да была ещё не совсем пропащей, и он всё надеялся.

А вот он. С самого края, у стены, где уже ложилась тень, сидел на корточках мужик из деревенских — заросший седой щетиной, в буром армяке, подпоясанном верёвкой, с руками, чёрными от земли. Перед ним стояла корзина яиц, а рядом, связанные за ноги, лежали в пыли две курицы и уже даже не трепыхались, только поводили мутным глазом. По его лицу я прочёл всю его немудрёную повесть, как читают вывеску. Приехал затемно, за две версты, надеялся сбыть яйца и кур к завтрашнему празднику; не сбыл — не умел, стеснялся, сидел молчком, пока бойкие торговки перехватывали его покупателей; а теперь солнце валится, куры на остатках тепла доходят и к утру сдохнут даром, яйца до дому целыми не довезёт — побьются в телеге на колдобинах, — и весь его двухдневный труд, весь корм, что пошёл на этих кур, всё это вот-вот обратится в ничто. Убыток был написан на нём крупно и ясно, как буквы на храмовой стене.

И яйца. Господи, яйца. Белок, о котором я думал, шатаясь от голода, всю дорогу от Класаса. Судьба — если она тут и вправду была — свела в одной пыльной корзине то, что нужно было моему изголодавшемуся телу, и то, на чём могла подняться моя изголодавшаяся голова.

* * *

А Йост — так звали мужика, хоть узнал я это после, — в тот час не видел ни меня, ни ярмарки, ни толпы; он смотрел внутрь себя, в свою беду, и беда была ему видна яснее любого товара.

Он поднялся нынче затемно, ещё вторые петухи не отпели. Уложил яйца в солому, чтоб не побить в телеге, связал кур, поглядел на спящих ребятишек, на жену, что вышла проводить в одной рубаше, зябко кутаясь, — и тронул в город за две версты по стылой осенней грязи. Всю дорогу он считал, как считает всякий бедняк, у которого каждая монета на счету. За яйца и кур выручит, если бог даст, столько-то. На эти деньги надо купить соли на зиму, чтоб не сидеть без соли, как в позапрошлом году. Отдать половину долга мельнику, что грозился за недоимку забрать последнюю меру зерна. Да жене на платок — старый весь в дырах, в церковь стыдно. Он разложил всё по монетке ещё в телеге, и выходило впритык, но выходило, и от этого на душе было почти покойно.

А в городе всё пошло наперекос. Бойкие торговки перехватывали покупателя ещё на подходе, орали, зазывали, совали товар в руки; а он, Йост, орать не умел и стыдился — выставил товар честно и ждал, что честный покупатель честный товар сам сыщёт, как ждали отец его и дед. Не сыскал. Солнце ползло к стенам, народ редел, яйца никто не брал, куры доходили на глазах. И вся его нехитрая арифметика — соль, долг, платок — рассыпалась к вечеру в прах. Он уже видел наперёд, как повезёт всё назад, как побьёт половину на колдобинах, как мельник придёт за зерном, как жена смолчит, поджав губы, и это молчание будет хуже всякой брани. Он сидел над корзиной чёрный от стыда и усталости и думал одно, тупо и безнадежно: пропало. Всё пропало, и сам виноват, дурак, что понадеялся на честный товар да на добрых людей.

* * *

Я подошёл и присел рядом с ним на корточки — не навис сверху, как барин или как стражник, а сел вровень, у самой земли, как садятся к своему, к ровне. Мелочь. Но с мелочей начинается доверие, а без доверия не продашь и воды жаждущему.

— Плохой день, отец, — сказал я. Не спросил — сказал ровно, как о деле давно решённом и обоим понятном.

Он покосился на меня — на мои лохмотья, на голодное чёрное лицо — и отвернулся, поджав губы. С оборванца взять нечего, а слушать оборванца недосуг.

— Тебе-то что за печаль, — буркнул он в сторону.

— Мне никакой, — согласился я легко. — А тебе — убыток. Смотри сам, отец, я вслух сосчитаю, а ты поправь, коли совру. Повезёшь домой — половину яиц побьёшь на колдобинах, куры к утру издохнут в хлеву, и весь твой корм, весь твой труд — псу под хвост. Продашь тут, сейчас, за сколько дают на исходе дня, — дадут гроши, самим не рад будешь. Так?

Он молчал, но уже не отворачивался. Мужик слушал, как слушает всякий, кому вслух назвали его тайную, ноющую заботу.

— А я говорю третье, — продолжал я, не давая паузе провиснуть. — Я за час продам весь твой товар. И яйца, и обеих кур. По твоей цене, а даст бог, и выше.

Он усмехнулся — криво, недобро, устало.

— Ты продашь. Ты, гляжу, себе-то на лепёшку за весь день не наторговал.

— Себе не наторговал, верно, — я не обиделся, обида в торге лишняя. — Себе я и не торгую. Я тебе торгую. — И выдержал ту паузу, что дороже всех слов, дал ей налиться. — Слушай уговор, отец, простой. Ты мне вперёд не платишь ни гроша. Тебе и рисковать нечем — ты и так всё теряешь, вечер тот же. Я встаю тут, у твоей корзины, и продаю. Что выручу сверх твоей цены — то пополам. Не продам ничего — ты не потерял ни зерна, я ушёл, и разошлись. А за то, что кур пристрою, отдашь мне не деньгами. Отдашь десяток яиц. По рукам?

Он думал долго, ворочая в поседелой своей голове нехитрую крестьянскую арифметику, и арифметика эта всякий раз выходила у него одна: терять нечего, а приобрести можно всё. На этой самой арифметике человека, которому уже нечего терять, стоит половина всех сделок, что заключались на свете от начала времён. Я знал, что он скажет да, ещё прежде, чем он это знал сам.

— А, пёс с тобой, — махнул он наконец чёрной рукой. — Всё одно пропадать добру. Ври давай, складный.

* * *

Врать я не собирался. Враньё — плохая, короткая продажа: оно вскрывается, и во второй раз тебе уже не верят, а я пришёл сюда не на один вечер. Я собирался делать другое — то, чего они тут не умели вовсе. Не менять товар, а менять то, что человек про этот товар думает. Яйцо оставалось яйцом. Менялось лишь то, чем это яйцо становилось в голове у покупателя, — а это и есть всё ремесло.

Я взял из корзины одно яйцо, поднял его двумя пальцами повыше, к бледному свету, чтобы видели с трёх рядов, и заговорил. Не крикнул цену, как надрывался дурак-рыбник, — цену называют последней, когда покупатель уже захотел. Я заговорил поверх голов, в толпу, тем ровным, полновесным голосом, каким на площадях объявляют важное, указ или казнь:

— Яйца из-под несущки, утрешние, тёплые ещё! Не лежалые лавочные, что по месяцу в лукошке преют, — деревенские, с самой зорьки, из-под живой курицы! Кто в доме хворого держит — тому первое лекарство, дешевле всякого травника! Кто дитё малое подымает, кто роженицу на ноги ставит — вот она где, сила, вот оно, здоровье, за медный грош! Хозяюшки, а кто мужа кормит — так на яйце-то мужик крепче на ногах стоит, чем на хлебе, это всякая баба знает!

Толпа сперва не поверила ушам. Оборванец, голодранец с чёрным лицом — а голос барский, уверенный, будто глашатай при магистрате. Кто-то фыркнул, кто-то приостановился — из одного любопытства, а любопытство и есть тот первый, крохотный шаг, за которым тянется кошелёк. Я не дал этому любопытству остыть.

Первой не выдержала дородная баба в синем платке, что топталась поблизости уже с минуту. Я заметил её сразу — по глазам, в которых стояла та особая, привычная тревога, какая бывает у матери с хворым дитём дома; такие хватаются за всякое обещание здоровья, как утопающий за соломину.

— Ты, хозяйюшка, в синем платке, — повернулся я к ней прямо, будто узнал старую знакомую. — По глазам вижу — в доме недужный, дитё, поди? Тебе первой. Сколько брать будешь? Пяток?

— Дитё, дитё, — заторопилась она, подступая, — кашляет вторую неделю, извелась вся...

— Бери восемь, — сказал я, и, не дожидаясь её согласия, уже отсчитывал ей яйца прямо в подставленный подол, вкладывая в руки одно за другим. Товар, который лёг человеку в руки,

наполовину уже куплен: держит — значит, взял, а вырвать назад из рук стыдно, на людях-то. — Восемь бери, не пожалеешь. Дитю по яйцу на день — через седмицу забегаёт. А восьмое — себе свари, ты вон сама с лица спала, тебе тоже силы надо, кто ж дитё подымет, коли мать сляжет.

Она заплатила за все восемь и ушла, прижимая подол, почти счастливая, — а я продал ей не яйца. Я продал ей надежду, что дитё выправится, да ещё и заботу о ней самой в придачу, за которую с неё, забытой всеми в её беде, никто давно не брался. Такое покупают дороже яиц.

За ней подошла вторая — молодая совсем бабёнка, — и подошла уже не столько за яйцами, сколько потому, что подошла первая. Так всегда: людям спокойнее покупать там, где уже покупают, чужой выбор им дороже собственного разума. Я развернул этот тонкий хвост очереди, как разворачивал когда-то воронку продаж в своём отделе, — по чутью, по лицам. Тех, что при деньгах и в добротном платье, брал вперёд, им — дороже, им — для хворого дитяти, для немощной матушки, тут стыдно торговаться. Тех, что победнее, пускал следом, тем — что осталось, за-ради почину, дёшево, налетай.

Сунулся было и старик, скупой, жилистый, из тех, что удавятся за грош; этот тряс головой, что дорого, что в лавке дешевле. С такими я не спорил — спорить с прижимистым значит укреплять его в скупости. Я просто отвернулся к другим, будто его и нет, и заговорил про то, как разбирают, как вот-вот всё кончится, — и старик, увидев, что товар уходит мимо него к другим, сам протолкался обратно и купил вдвое против того, что брал бы поначалу: жаднее скупца до покупки только скупец, который боится упустить.

Подвернулась и кухарка из богатого дома — я узнал её по чистому переднику и по тому, как несла кошель: не свой, хозяйский. Таким продавать легче всего, ибо тратят они чужое, а хвалят перед хозяином себя. Ей я отобрал самые крупные, самые белые, отдельно, с почтением: для господского, мол, стола, свежайшие, отборные; гостей нынче принимаете — так не ударьте лицом, пусть хозяин видит, какова у него кухарка. Она и не подумала торговаться — за хозяйский кошель не торгуются, — взяла дюжину по цене, какую со своих я и спросить бы постыдился, и ушла довольная, что угодит хозяину отборным товаром. Кто платит чужим, тот платит щедро: это я знал ещё по той жизни, где целые дома жили тем, что тратили чужие деньги с лёгким сердцем.

А кур я не стал продавать как кур. Двух тощих, полузадохшихся несущек, которым в мясном ряду и медяка бы не дали, я поднял за связанные ноги повыше и продал как наваристый бульон для больного, как силу для роженицы, что не встаёт после родов, как то единственное, что подымет слёгшего кормильца. И связанная пара ушла вдвое против всякой цены — ушла немолодой тихой женщине с горем в глазах, у которой, видать, и вправду кто-то дома угасал; ушла со словами благодарности, будто я ей не курей продал, а исцеление и надежду.

За час корзина опустела дочиста.

* * *

Мужик мой, Йост — он назвал наконец имя, — стоял всё это время рядом и смотрел на меня, как смотрят на морок, на ярмарочного фокусника, что тянет ленту изо рта. Он весь день, два дня не мог сбыть этот товар, а тут пришёл чужой, чёрный от голода оборванец и за один час размёл всё подчистую, да ещё и по цене выше той, на какую сам Йост и надеяться не смел.

Он ссыпал мне в ладонь мою долю. Считал сам, вслух, шевеля губами, честно до последнего медяка — при таком чуде обмануть побоялся, будто я и вправду колдун. Шесть пфеннигов вышло. И отсчитал уговорённый десяток яиц, а сверху, помяв в руках, поколебавшись, положил ещё два — за кур, сказал, больно складно ты про них, отродясь такого не слышал.

Шесть медных пфеннигов и двенадцать яиц.

Я стоял, зажав это богатство в горсти, и — стыдно сказать — у меня подрагивали руки. В той, прежней жизни я закрывал сделки на миллионы, подписывал бумаги, от которых зависели чужие судьбы, и не чувствовал ничего, кроме ровной свинцовой усталости в спине да раздра-

жения, что вот, опять квартал, опять план. А тут шесть медяшек и дюжина яиц легли мне в ладонь такой тяжестью, будто я поднял их со дна морского, будто в них была вся соль земли. Первые деньги, заработанные мною в этом мире. Заработанные тем единственным, что у меня осталось, что нельзя ни отнять на заставе, ни выбить в драке, — головой. И оно работало. Господи, тут, среди этих людей, что торговать не умели вовсе, оно работало даже лучше, чем там.

Я не утерпел. Отошёл на шаг, разбил одно яйцо о край опустевшей корзины и выпил сырым, запрокинув голову. Потом второе. Тело приняло их с жадностью, почти с болью, с той дрожащей благодарностью, с какой пересохшая земля принимает первый дождь; в голове чуть посветлело, тёмные мухи перед глазами разошлись. Белок. Первый белок за две жизни в этом голодном теле. Я заставил себя остановиться на двух — остальные надо было донести, сварить, растянуть, — и спрятал яйца за пазуху, к тощей груди, бережно, как прячут золото.

Я стоял, чувствуя, как расходится по жилам сила первых двух яиц, и думал о странном. В той, прежней жизни у меня был оклад, какого этим людям не привидится и во сне, машина, тёплый дом, фарфор, из которого я ел в одиночестве, — и не было при этом ничего: ни голода, ни радости, одна ровная свинцовая усталость да раздражение, что вот, опять квартал, опять план. А тут я стоял в рваньё, битый, чёрный от голода, с шестью медяшками и дюжиной яиц за пазухой, никому не нужный чужак, — и был, кажется, живее, чем за все двадцать сытых лет той жизни. Голод, выходит, обостряет не только брюхо. Он обостряет и самый вкус к жизни, который сытый теряет, сам того не заметив. Мысль была неудобная, и я, по привычке, задвинул её поглубже — но не выбросил.

* * *

И тут, дожёвывая, я почувствовал на себе два взгляда, и оба меня касались.

Первый был тяжёлый, злой, сбоку. Баба из яичного ряда — та, у которой был свой лоток, своя лежалая цена и своя годами насиженная торговля, — стояла, уперев красные руки в бока, и смотрела на меня так, как смотрят на вора, залезшего средь бела дня в чужой карман. И ведь по-своему была права. Я оттянул к чужой дешёвой корзине тех самых покупателей, что весь вечер шли бы к ней, я сбил ей выручку, я стал ей поперёк кармана — и она это поняла мгновенно, бабьим своим торговым чутьём, и не забудет вовек. Я видел, как ходят у неё желваки, как складывает она уже в голове, кому пожаловаться, кого натравить на пришлого. Первый нажитый враг, и всего-то за один час. В этом городе, я уже начинал понимать, всякий твой навар — это непременно чей-то недобор, и обиженный запоминает лицо крепче, чем облагодетельствованный.

* * *

А баба та — звали её Грид, вдова, торговала она яйцом на этом самом месте, у стены, двадцать лет, как и мать её до неё, — баба та смотрела мне в спину и медленно закипала.

Она встала нынче, как встаёт всякий божий день, затемно; обошла курятники, собрала, обмыла, уложила, притащила на горбу к воротам, села на своё, кровное, годами насиженное место и стала ждать покупателя — своего, привычного, что ходил к ней из года в год. И покупатель шёл, помаленьку, как всегда; к вечеру набралось бы на хлеб да на свечку, как набиралось всегда, — небогато, да верно, да честно. А тут явился этот. Чёрный оборванец с чужой корзиной и барским языком, встал в двух шагах, заорал, засыпал народ сладкими словами про хворых детушек да про силу для мужей — и оттянул к дармовой чужой корзине тех самых баб, что шли к ней, к Грид. Она видела, как уплывает к пришлому её вечерняя выручка, монета за монетой, и не могла поделать ничего: так орать, так вертеть словами она не умела и за двадцать лет не выучилась, да и не бабье это дело — паясничать на торгу; честные люди так не торгуют.

В груди у неё поднималось горячее, злое, бессильное — и не за деньги даже, а за обиду. Пришёл чужой, безродный, невесть откуда, и одним языком, за один вечер, отнял то, что она горбом брала двадцать лет. И было это несправедливо так, что перехватывало горло. Она запоминала его лицо — чёрное, скуластое, с наглыми спокойными глазами; запоминала накрепко,

на годы. И уже прикидывала холодно, по-бабьи обстоятельно, кому шепнуть: свояк у неё в цеховой страже, кум держит кабак, где сходятся нужные люди. Шепнуть, что завёлся-де на ярмарке приبلуда без роду и без грамоты, торгует без места и без права чужим товаром, отбивает хлеб у честных, — и пусть с ним разберутся, как разбираются тут с чужаками. Не нынче. Но Грид была из тех, кто обиды не забывает и своего часа ждёт терпеливо.

* * *

Я выдержал её взгляд спокойно и отвёл первым — не из страха, а потому, что тратить силу на злобу бабы, у которой на меня ничего нет, было пока невыгодно. Успеется.

Второй взгляд был снизу и спереди, и совсем другой. Босой мальчишка — тот самый, чумазый, быстроглазый, что утром оценил мою рвань, счёл, что взять с меня нечего, и отвернулся, — стоял теперь в трёх шагах и смотрел на меня во все глаза, забыв и про чужие кошельки, и про всё на свете. Он один во всей толпе понял, что сейчас видел. Прочие видели фокус, чудо, ловкого пройдоху. А этот сорванец, что сам жил только чутьём на людей, увидел ремесло — и смотрел на него с тем жадным, узнающим, почти голодным восхищением, с каким мальчишка-подмастерье смотрит на работу мастера, которой сам ещё не умеет, но уже чувствует, что отдал бы за неё полжизни.

* * *

А мальчишку звали Пепе, и он в тот вечер увидел то, чего не увидел на всей ярмарке ни один взрослый.

Он с утра промышлял у ворот по мелочи — где кошель отвиснет, где зазеваётся пьяный, — и жил, как жил всегда, одним чутьём на людей: кого можно тронуть, кого обойти за версту. Оборванца этого он заметил ещё поутру, скользнул взглядом, оценил рвань, понял — гол, взять нечего, — и забыл. А к вечеру наткнулся снова и застыл. Оборванец стоял над чужой корзиной и делал голосом и руками что-то такое, отчего чужие тётки, скупые, прижимистые, что за грош удавятся, сами лезли за деньгами и уходили счастливые, отдав своё. Пепе смотрел и не мог взять в толк как. Товар не его. Яйца те же, что у злой бабы рядом. А у оборванца всё разлетелось, у бабы лежит. Колдовство? Нет, на колдовство не похоже: оборванец просто говорил — а люди слушались. И в вертлявой, битой, недоверчивой Пепиной голове впервые шевельнулся не расчёт даже, а голод — жгучий голод понять, как это делается. Потому что он смутно, всем своим уличным нутром почуял: кто так умеет, тому не надо лазить по чужим кошелькам и класть голову под топор. Тот берёт больше, и берёт без риска, и сыт всегда.

И, забыв всякую свою осторожность, он шагнул к чужаку — чего не делал никогда, ибо к чужим не подходят, — потому что голод понять пересилил в нём привычный страх.

* * *

Он подошёл, шмыгнул носом, вытер его тыльной стороной чёрной ладошки.

— Ты как это сделал? — спросил тихо, деловито, без всякого здравствуй. — Товар-то не твой был. И яйца те же самые, что у неё. — Он мотнул стриженной головой в сторону злой бабы. — А у тебя всё враз разобрали, а у неё лежат. Как так?

Хороший вопрос. Единственный правильный вопрос на всей этой ярмарке, где взрослые бородатые мужи видели морок, а понял суть один голодный сорванец. Я поглядел на него сверху — на быстрые чёрные глаза, на цепкие пальцы, привычные к чужим кошелькам, на то, как ладно, не по годам, он читал людей, — и в голове у меня, поверх усталости и сытого тепла первых двух яиц, тихо, по-деловому щёлкнуло знакомое: вот они, руки и ноги, которых у меня нет; вот язык, что разнесёт по городу нужные слова; вот первый мой работник, если сумею его взять.

Но следом щёлкнула и осторожность, холодная: злая баба уже смотрит, завтра посмотрят другие, а нищий, что за один вечер стал ловок и приметен, — это гвоздь, что торчит из доски, а торчащий гвоздь в таком городе рано или поздно забивают. Тихо, сказал я себе. Тихо и понемногу.

— Как? — повторил я и присел перед ним на корточки, вровень, как садился давеча к мужику Йосту. — Хочешь — научу. Не задаром, задаром только бьют. Тебя как звать-то?

— Пепе, — сказал он, не сводя с меня своих быстрых глаз, в которых уже загорелось что-то похожее на надежду, а надежда у таких, как он, дорогого стоит.

— А меня, Пепе, звать Мартен, — сказал я, и чужое имя во второй раз за день легло мне на язык почти как своё. — И у нас с тобой, сдаётся, будет о чём потолковать.

Глава 5. Тело

Ночь я встретил богачом.

Семь медных пфеннигов в горсти и десяток яиц за пазухой — по меркам этого тела, которое привыкло засыпать пустым и просыпаться ещё пустее, это было целое состояние. Тело чувало еду сквозь тряпицу и требовало сожрать всё разом, немедленно, теперь же, пока не отняли: в животе тянуло и подводило, слюна набегала злая, голодная, руки сами лезли за пазуху. Я не дал. Я слишком хорошо знал эту жадность истощённого — она губит вернее самого голода.

Я разбил ещё два яйца о шербатый край миски, выпил медленно, в три глотка, чувствуя, как густая тёплая жижа проходит по горлу и тяжело оседает в пустом желудке, и заставил себя остановиться на этом. Истощённого нельзя закармливать сразу — вывернет наизнанку, и вся дневная добыча уйдёт желчью в солому; это я знал ещё оттуда, из той, уже чужой мне жизни, где голод был причудой сытого, выбором, а не приговором. Остальные яйца я убрал, обмотав тряпицей, и приткнул к холодной стене, в тень, где посвежее. Восемь яиц. Восемь дней по яйцу. Восемь дней белка для мышц, которых у меня почти не осталось. Я пересчитывал их пальцами в темноте, как когда-то пересчитывал бюджет на квартал: важно не сколько есть, а на сколько хватит и что из этого можно построить.

А построить мне предстояло вот что. Тело.

Я сидел на гнилой соломе, ощупывал в темноте чужие руки — тонкие, с дряблыми, забывшими всякую работу мышцами, с острыми, как у подростка, локтями, — и понимал холодно, без жалости к себе: голова у меня есть, голова целая и ясная, но голова эта ходит, бегаёт и терпит боль на ногах тела, а тело моё не выдержит и версты бегом. В мире, где всё решают сила и выносливость, я калека при светлом уме. Значит, тело надо чинить. Не завтра, когда будет удобно и сытно, — удобно и сытно не будет здесь никогда, — а сегодня, сейчас, в темноте, натошак, через не могу. Я двадцать лет вбивал это в ленивых чужих мальчишек, которые платили мне, чтобы я гонял их железом: тело строится не тогда, когда есть силы, а тогда, когда их нет.

Под низким потолком каморки шла балка — закопчённая до черноты, но толстая, добрая, она держала на себе всю провисшую крышу. Я встал, примерился, подпрыгнул и поймал её обеими руками. Дерево было шершавое, в занозах, холодное. Я повис на нём всем своим малым весом и потянул себя вверх.

Раз. Руки задрожали на середине, локти не желали сгибаться, всё тело обвисло, как мокрая верёвка. Два. На третьем я уже не поднялся — только дёрнулся, обдирая ладони, повис, хватая ртом сырой вонючий воздух, и спрыгнул, чтобы не сорваться и не расшибиться. Три подтягивания. Всего три. В той жизни я делал двенадцать чистых в свои пятьдесят и втайне гордился этим перед зеркалом в раздевалке, косясь на молодых. Здесь — три, и в глазах уже темно, и сердце колотится в горле. Ну и пусть. Три сегодня — это четыре через неделю и десять через два месяца, если делать каждый день и если кормить. Тело не спрашивает, кто ты, откуда взялся и чья душа в нём сидит. Тело считает нагрузку и белок, тупо и честно, — а в этом счёте я разбирался лучше, чем в любом другом.

Я лёг на утопанный земляной пол и стал отжиматься. Пол холодил и обдирал ладони, воняло мочой, плесенью и мышами, отжимания выходили кривые, дрожащие, зад вихлялся, — но я выжал десяток и ещё половину, пока руки не подломились и я не ткнулся лицом в грязь. Полежал. Встал. Поднял из угла тяжёлый обкатанный камень, которым подпиралась на ночь дверь, прижал его к груди и стал приседать — раз, десять, двадцать, пока бёдра не загорелись живым огнём и не затряслись. Пот выступил на спине, несмотря на холод, потёк по вискам, солёный, — и от этого пота, честного, заработанного, мне впервые в этом чужом теле стало

почти хорошо. Это была работа, которую я понимал до конца. Это был план, который зависел только от меня — не от Клааса, не от города, не от чужой прихоти, не от того, повезёт ли завтра на рынке. Тело — единственная собственность, какую в этом мире нельзя занять под расписку, отнять по суду или проиграть в кости пьяным вечером. Её можно только построить или пропить. Пропивать я не собирался.

Я проделал весь круг ещё раз, через силу и злость: три подтягивания стали двумя, отжимания — семью, приседания с камнем — жалкой дюжиной. Дрожь колотила всё тело, пот заливал глаза, но я знал этой дрожи цену. В той, прежней жизни я платил хорошие деньги умному молодому тренеру, чтобы он раз в неделю доводил меня до этой самой точки, и уходил из зала довольный собой, а после отпаривался в сауне и говорил себе, что неплохо держусь для своих пятидесяти. Здесь не было ни зала, ни сауны, ни зеркала во всю стену, ни лишнего яйца про запас — только чёрная балка, обкатанный дверной камень, холодный земляной пол да восемнадцать дней сроку. И это, как ни странно, было честнее. Там я мучил тело от скуки и тщеславия, чтобы нравиться себе и случайным женщинам. Здесь — чтобы попросту не сдохнуть. Тело, которое строят, чтобы выжить, отзывается быстрее и злее: у него нет другого выхода, как у загнанного в угол должника. Я считал каждое движение шёпотом, как считал когда-то выручку в конце дня, и в этом счёте была странная опора: пока я считаю, я ещё не сдох, пока прибавляю по одному — я расту, а не гнию.

Я уснул на соломе, разбитый и странно довольный, и спал как убитый — тем крепким, без снов, сном человека, который наконец сделал за день хоть что-то правильное.

* * *

Утром всё болело — и это была хорошая боль, знакомая, боль роста, я её знал и любил ещё оттуда. Хуже было другое. Я вышел до ветра и у двери, в рассохшейся бочке с дождевой водой, поймал своё отражение — и увидел, кого видит город, когда я прохожу мимо. Заросшего, лохматого, чёрного от грязи оборванца с колтуном в свалевшихся волосах и щетиной, в которой застряли соломинки и репы. Глаза запавшие, скулы торчат. С таким лицом не продают. С таким лицом либо подадут из брезгливой жалости, либо гонят от ворот палкой. А чтобы человек тебя выслушал и сам, добровольно, отдал тебе свои деньги, ты должен выглядеть не богаче его — богатый пугает, злит и заставляет прятать кошель, — а чуть чище его, чуть спокойнее, чуть надёжнее. Опрятным. неброским. Своим в доску, но самую малость получше.

Я потратил на это два пфеннига из семи — и не пожалел потом ни одного.

Цирюльник держал тесную каморку под навесом у городской бани, где всегда воняло щёлоком, палёным волосом и распаренным телом. Звали его Руди, был он лысоват, толст, с красными руками и одышкой, и болтал без умолку, ещё не взявшись за ножницы. За два медяка он обкорнал меня почти наголо, вычесал колтун частым гребнем вместе с гнидами, брезгливо сбрасывая их в огонь жаровни, где они лопались с треском, полил мне голову щёлоком, чтоб не завелось снова, и подровнял бороду ржавыми ножницами, дыша мне в затылок луком и вчерашним пивом.

И всё это время он молол языком, не закрывая рта ни на миг: что сбор на въезде в город опять подняли на грош с воза и купцы бранятся, что на юге какие-то ратные люди пожгли две деревни и мужики бегут в город, что зима встанет рано, а хлеб уже к осени дорог, и быть большому голоду. Я слушал в оба уха, кивал, поддакивал, изредка подкидывал словцо, чтоб он не иссяк. Болтовня цирюльника в этом городе стоила дороже золота, и умный человек платил за неё, притворяясь, будто платит за стрижку. Через руки Руди проходили все головы города — от нищего до советника, — а вместе с головами проходили и все слухи, все долги, все свары и все страхи. Я мотал на ус, кто с кем в ссоре, у кого сгорел товар, кому задолжал полгорода и кто из-за этого зол. Даром. Приплачивая только вниманием, которого мне было не жалко.

А послушать было что. Руди, сам того не ведая, вываливал мне на голову вместе с мыльной пеной всю потайную изнанку города. Что суконщик Мертенс третий месяц судится с гиль-

дией и вот-вот прогорит, потому что соперники перекрыли ему подвоз крашеной шерсти. Что у пивовара с угла помер брат, оставив молодую вдову с полной пивоварней, которую той не поднять одной, и охочие люди уже кружат вокруг, как вороньё над павшей лошастью. Что старший советник тайком, через подставных, скупает дома у обедневших горожан, а те и рады продать, не ведая, кто настоящий покупатель и зачем ему полулицы. Что на большом тракте опять пошаливают, и купцы стали нанимать охрану, а это лишний расход, и оттого всё в городе чуть дороже. Я запоминал каждое имя, каждую цифру, каждую чужую беду и складывал их про себя, одну к одной, как складывают монеты в кошель. Чужая беда — это чужая нужда, а чужая нужда — это первое, что ищет всякий, кто хочет что-нибудь продать. Пока у меня не было ни товара, ни силы, ни доброго имени, у меня мог быть хотя бы полный кошель чужих слабых мест. Это тоже был актив, и толстый болтливый Руди отдавал мне его даром, за одно моё терпеливое, внимательное молчание.

Он предложил заодно кинуть мне кровь — от дурных телесных соков, от всех болезней разом, всего за грош, — и я едва не рассмеялся ему в багровое лицо. Пускать кровь истощённому, которому каждой капли не хватает, чтобы отстроить издохшее тело, — вернее способа свести человека в могилу надо ещё поискать. Я вежливо отказался. Тогда он оттянул мне губу, поглядел на чёрный гнилой зуб справа, поцокал языком и сказал, что рвать надо, пока не пошло дальше на челюсть, а рвёт он дешёво и ловко, любого спроси. Тут он был кругом прав, и я это знал не хуже него: гнилой зуб — это не про красоту, это медленный яд, который однажды свалит меня жаром и горячкой в самый неподходящий день. Но вырвать зуб — значит день, а то и три провалятся с рваной, кровящей, распухшей десной, слабым и беспомощным, а беспомощности я не мог себе позволить сейчас ни на час. Потом, сказал я. Как встану на ноги. И отложил это, как откладывал всё, что нельзя было оплатить временем, которого у меня не было.

* * *

Руди глядел вслед стриженому оборванцу и хмурился, сам не зная отчего.

Он держал эту каморку у бани двадцать два года и всякого перевидал под своими ножницами: и купцов, и воров, и висельников за день до петли. Мартена он знал давно, как знал полгорода, — знал пустым, гнилым человечешкой, из тех, что берут в долг медяк и прячут после глаза, из тех, кого бьют по переулкам, а они только скулят и утираются. И этот пришёл сегодня — стриженный, чистенький, при монете. Но не в стрижке было дело. Сидел он под ножницами не как прежний Мартен — не ёрзал, не канючил, не сулил заплатить втрое на той неделе. Сидел тихо, ровно, слушал болтовню так, будто просеивал её на сите и что-то оставлял себе, а что-то выбрасывал. И глаза. Глаза были не мартеновы — не собачьи, слезящиеся, а чужие, спокойные, считающие. Так глядел не нищий из канавы, а барышник на конском торгу — быстро, цепко, прикидывая всему цену. Руди даже поёжился под этим взглядом, хоть глядели-то на него всего миг. Померещилось, решил он и сплюнул в жаровню. С голоду у человека и не то в глазах встанет. Отдал же два медяка, не то что прежде. И забыл о нём, едва подошёл следующий.

* * *

Я вышел от Руди другим человеком. Голове было легко и холодно без колтуна, кожа на темени саднила от щёлока, но я был чист, стрижен, подобран — и, поймав второй раз своё отражение, уже в луже посреди улицы, увидел не оборванца, а бедного, но опрятного человека, которого можно, пожалуй, и выслушать, и даже поверить ему на грош-другой. Пять пфеннигов в горсти, восемь яиц за пазухой, стриженная голова и план в этой голове. По меркам вчерашней канавы — почти хозяин жизни.

Я шёл к рынку сквозь просыпающийся город, и он впервые за эти страшные дни не пугал меня, а будто нехотя принимал. Разносчица с лотком тёплых лепёшек скользнула по мне взглядом и не отвернулась брезгливо, как отвернулась бы вчера от вшивого оборванца, — просто посмотрела и пошла дальше, как смотрят на всякого. Водонос с двумя ведрами на скрипучем коромысле буркнул мне посторонись, приятель, будто я и впрямь был ему приятель, ровня,

один из городских. Мелочь. Пустяк, о котором и говорить смешно. Но в этом пустяке было всё: меня перестали видеть отбросом, которого можно пнуть мимоходом. Стриженная голова, чистое лицо, прямая спина — и вот человек уже не мишень, а просто бедняк, каких в этом городе тысячи, серый и незаметный. Я поймал себя на том, что иду почти легко, забыв про боль в голодном животе и про всякую осторожность, и грею в груди глупое, тёплое, живое чувство — будто снова стал кем-то, а не никем. Это тёплое меня и подвело. Разомлев, я перестал ошупывать глазами тени по углам, а в этом городе, как выяснилось через минуту, тени по углам ошупывать нужно всегда.

Ровно поэтому меня и достали.

* * *

В кривом глухом переулке между баней и рынком, там, где стены домов сходились так тесно, что двоим было не разойтись не задев, из сырой тени шагнул мне навстречу человек. Большой, тяжёлый, с широким бабьим лицом и маленькими злыми глазами, вдавленными в жир, в кожаном фартуке мясника, задубелом от бурых пятен. За плечом у него маячил второй, помельче и порасторопнее, с обломком кола в опущенной руке.

— Мартен, — сказал большой и растянул губы, показав крупные редкие зубы. — Гляди-ка ты. Постригся. Приоделся. Никак разбогател, а, Мартен? С чего бы это нищему вдруг разбогатеть?

Я не знал его. И это было хуже всего — потому что он-то знал меня, вернее, того Мартена, чью шкуру я таскал на костях, и по его тяжёлому, довольному лицу я читал ясно, как в счётной книге: Мартен задолжал ему что-то большое, и не деньгами даже, а обидой, из тех обид, что не прощаются и ждут своего часа годами. Я начал говорить — быстро, ровно, тем самым голосом, которым вчера продал бабе корзину яиц:

— Послушай, друг. Я не тот, за кого ты меня...

Слово — доброе оружие против того, кто хочет сделки. Против того, кто пришёл за кровью, слово бессильно, как бумажный щит, потому что он явился не торговаться, а брать своё. Удар прилетел раньше, чем я договорил, — коротко, снизу, в скулу, страшно, и мир качнулся и залился белым. Я всю жизнь дрался словами и цифрами, и вот впервые за две жизни в меня по-настоящему, всерьёз, ударили, — и я узнал в тот миг то, что знает всякий битый с малолетства: против настоящего удара ум не значит ровно ничего. Я не успел ни увернуться, ни закрыться, ни даже испугаться толком. Тонкие руки Мартена сами вскинулись к голове, — и по ним, по рёбрам, по спине, по хребту посыпалось: руками, ногами, деловито, без злобы даже, ровно и споро, как молотят на гумне снопы.

* * *

Мясник бил и отдыхал душой.

Три года назад этот самый Мартен взял у него мяса в долг — целую заднюю свиную ногу, под божбу и слёзы, будто перепродает на ярмарке и отдаст вдвое, — а после стигнул, зашил в свои норы, и при встрече отводил глаза, а раз, подлюга, ещё и харкнул в его сторону при людях и обозвал жирным. За ногу-то мясник давно махнул рукой, ногу он бы простил. Не прощалось другое — что мелкая эта гнида посмела его, хозяина, человека при своём деле и своих деньгах, обмануть и высмеять прилюдно. Такое надо выправлять, иначе завтра всякий должник в городе решит, что с ним, с мясником, можно шутки шутить. Он бил не в ярости — ярость давно перегорела. Он ставил печать. Спокойно, обстоятельно, чтоб видели и запомнили. И то, что нищий сегодня зачем-то постригся и приоделся, только слаще растравляло: гляди-ка, приподняться захотел. Не выйдет. Каждому своё корыто.

* * *

Я упал. Свернулся в жидкой грязи, закрывая руками голову, поджав колени к животу, а они топтали меня, пока не надоело, — недолго, впрочем, я и не стоил долгого. Потом большой присел надо мной на корточки, сопя, обшарил, вытряхнул у меня из горсти пять пфеннигов,

вырвал из-за пазухи тряпицу с яйцами, глянул, что там, хмыкнул — и с лентой раздавил её каблуком в грязь, чтоб не досталось мне, раз ему самому без надобности. Восемь дней белка вытекли жёлтым в чёрную жижу.

— Это тебе в счёт старого, — сказал он, кряхтя выпрямляясь и вытирая руки о фартук. — А за старое ты мне ещё принесёшь, слышь. Разбогател он. — И напоследок, уже отворачиваясь, коротко и тяжело саданул подбитым башмаком мне по ноге, чуть ниже колена, — не со зла, а так, для порядка, как ставят последнюю печать на грамоту. Что-то в ноге хрустнуло глухо и мокро, и боль вошла белым раскалённым гвоздём от щиколотки до самого бедра.

Они ушли, не оглядываясь. Я остался лежать в узком переулке, в грязи и в раздавленных яйцах, стриженный, опрятный и нищий, как вчера, — нет, беднее вчерашнего, потому что вчера у меня были хотя бы целые ноги.

Мимо, вжимаясь в стену, протиснулся человек с корзиной за спиной — аккуратно переступил через мои вытянутые в грязи ноги, глянул сверху вниз равнодушно, как глядят на пьяного или на дохлую собаку, и пошёл дальше, ускорив шаг и не оглянувшись. Не помог, не окликнул, не позвал стражу. И правильно сделал: в этом городе тот, кто суётся в чужую драку и в чужую беду, завтра сам лежит в такой же грязи, и уже за свой счёт. Я понимал это даже сквозь звенящую боль и не держал на прохожего зла — я бы и сам, из прежней своей жизни, прошёл мимо точно так же, только глаже одетый. Я лежал, и холодная жижа медленно пропитывала одежду, добиралась под неё, к самой коже, и мешалась там с тёплой ещё кровью, что текла из рассечённой скулы и капала мне на шею. Пахло навозом, железом крови и сладковатой дрянью раздавленных яиц. А совсем рядом, за одним поворотом, шумел рынок — сытый, живой, горластый, чужой, — и никому там, ни единой душе, не было до меня ровно никакого дела. Так, наверное, и надо. Так даже спокойнее: кому нет до тебя дела, тот и не отнимет ничего дважды.

* * *

Я не сразу смог встать. Нога не держала — при первой же попытке опереться боль простреливала так, что темнело в глазах и к горлу подкатывала тошнота, и я сползал обратно в грязь и лежал, дыша сквозь стиснутые зубы, считая вдохи, чтобы не завывать в голос, как собака. Считать — вот единственное, что я умел делать всегда, при любой боли, в любой из двух моих жизней.

И я стал считать.

Актив вчерашний: семь пфеннигов, восемь яиц, целое тело, пусть и слабое. Актив нынешний: ноль пфеннигов, ноль яиц, тело битое, нога, на которую нельзя ступить, разбитое в кровь лицо. За неполные сутки я поднялся из канавы почти в люди — и рухнул обратно, ниже, чем был. Всё, что я заработал головой, у меня отняли силой в глухом переулке за сотню шагов, — и в этом был урок, холодный и точный, дороже самих отнятых денег. Я слишком быстро высунулся. Постригся, подобрался, зазвенел монетой в горсти, засветился чистым лицом — и меня тут же увидели и обобрали. В этом городе колос, что торчит над прочими, срезают первым, и неважно, что колос-то был чужой, из мартеновского гнилого прошлого; расплачиваться по счетам этого прошлого теперь мне, и, судя по всему, счетов таких по городу разбросано немало.

Хорошо. Урок принят и записан. Больше я не буду выглядеть как человек, у которого есть что взять. Буду серым, тихим, незаметным — таким, каким был всю прошлую жизнь и каким дотянул в ней целым до пятидесяти лет. Богатеть буду так, чтобы никто вокруг не видел ни единого гроша.

Начну с того, что есть. С мальчишки Пепе, который бежит куда быстрее меня и глядит мне в рот. С чужих рук, которые за малую долю сделают то, чего не могут мои. С полного кошелька чужих слабостей, что я нынче даром набил под ножницами у Руди. Деньги в этом мире липнут к тому, кто их не показывает; их надо не носить в горсти на виду, а прятать за спины

других людей — за подставных, за доли, за услуги и одолжения, — так, чтобы всякому мяснику, всякому Клаасу и всякому советнику было попросту не за что ухватить. Пусть работают чужие руки, пусть светятся чужие лица, пусть барыш идёт через десятые руки, а я останусь в тени, серый и с виду пустой, как эта стена. Один раз я уже прожил так целую долгую жизнь — тихо, незаметно, никому не должный, — и дотянул невредимым до пятидесяти лет, до самого того кофейного автомата. Проживу и здесь, во второй раз, с одной ногой и с пустыми руками. Только теперь я знаю то, чего не знал в первой жизни: что бывает и хуже, чем эта грязь. И что из этой грязи я уже один раз за неделю сумел подняться. Значит, сумею и снова.

А это тело, эту проклятую слабую ногу — отстрою, чего бы оно мне ни стоило, потому что ум без тела в здешнем мире стоит ровно столько, сколько стоил сейчас я сам в этой грязи: ничего.

Я перевернулся на живот, дотянулся до сырой стены и, цепляясь за неё ногтями, обдирая пальцы, кривясь и шипя, подтянул себя вверх — на одну целую ногу и одну горящую, повисшую бесполезно. Устоял. Отдышался. Восемнадцать дней до срока Клааса. Ни монеты за душой. Битое тело. И где-то там, у рынка, в толчее, мальчишка Пепе, который вчера, разинув рот, спросил меня, как это я так ловко делаю.

Значит, начнём заново. С мальчишки, с одной ноги и с пустых рук.

Я и не с таким начинал.

Глава 6. Чужими руками

Нога за ночь раздулась и стала чужой вдвойне.

Я проснулся до света — от боли, от холода и от крысиной возни в углу, где под гнилой половицей что-то грызли и таскали всю ночь напролёт, деловито, по-хозяйски, будто это я тут был гостем, а не они. Долго лежал на прелой соломе, не шевелясь, собирая себя по частям. Каморка выстыла до костей. Сквозь щель в разошедшемся ставне сочился серый, как разбавленное молоко, свет, и в нём медленно плавала пыль и пар моего собственного дыхания. Пахло сыростью, мышами, кислой тряпкой и той нежилой затхлостью, какой пахнет всякий угол, куда человек не приходит жить, а заползает пережидать. Я пережидал.

Потом сел, стиснув зубы, и размотал с ноги тряпье, которым перетянулся накануне. Осмотрел её при этом сером свете — так же трезво, без жалости, как осматривал вчера всё прочее: губу, рассечённую о чей-то перстень, заплывший в щёлку глаз, ссаженные о брусчатку ладони. Ниже колена всё налилось сине-багровым, тугим, глянцевым, кожа на голени лоснилась и не отпускала пальца — надавишь, и ямка держится долго, как в сыром тесте. Наступать нельзя, это я понял, едва пошевелил ступнёй: боль стрельнула вверх до самого бедра, острая и чистая. Но кость, кажется, цела. Я заставил себя проверить, а не пожалеть: пальцы шевелились все до одного, и по голени не шло той мертвенной, неживой кривизны, какая бывает при переломе, — я такое видел однажды, у грузчика, которому бочка перебила ногу, и запомнил навсегда. Ушиб, растяжение, надорванная жила. На неделю, если беречь. На месяц, если не беречь.

Беречь я не мог. У меня было восемнадцать дней до Клааса и ноль монет, и первый же из этих восемнадцати дней уже светал в щели ставня и требовал, чтобы я встал и заработал. Долг не ждёт, покуда заживает жила. Долг считает дни, как считаю их я.

Встать я кое-как встал. Опираясь спиной о сырую стену, потом о дверной косяк, а потом — на палку, которую отломил ещё с вечера от разошедшейся лавки в углу; дерево было трухлявое, но держало. И вот, стоя на одной здоровой ноге посреди этой вонючей каморки, покачиваясь, обливаясь холодным потом от одного усилия выпрямиться, я наконец додумал до конца ту мысль, что вчера в переулке только толкнулась в мою разбитую голову и тут же утонула в боли.

Я не могу больше выходить на рынок сам.

Не только потому, что на этой ноге я не дойду до ворот и не выстою у лотка полдня. Это бы полбеды, нога заживёт. А потому, что вчера меня увидели. Разглядели как следует, оценили, взвесили — и сняли всё до последнего медяка. Стриженого, чистого, при монете, ловкого на язык — увидели и поняли: этот что-то имеет. В этом городе тот, кто на виду хоть что-нибудь имеет, — уже не человек, а добыча; и я успел побыть добычей ровно один раз и не желал повторять. Один раз — наука. Два — глупость.

Значит, работать надо иначе. Так, чтобы на виду, под чужими взглядами, под ножом мясника и под чужой завистью торчал кто-то другой, а я сидел бы в тени, откуда меня не достанет ни жадный глаз, ни крепкая рука. Мне нужны были чужие руки. Чужие ноги — бегать, стоять, кричать, держать удар. Свои-то у меня были одни целые из двух.

И я знал, чьи.

* * *

Пепе я нашёл там же, у рыночных ворот, где он всегда промышлял, — вернее, он нашёл меня первым.

До ворот я тащился долго, дольше, чем шёл бы здоровый вдвое, вжимаясь в стены, представляя палку и больную ногу враскачку, и весь этот путь город тёк мимо меня своим обычным утренним потоком, равнодушный и грязный. Прошла баба с коромыслом, окатив меня запахом кислого молока из бидонов. Проковылял навстречу нищий с гнойными бельмами, привычно затащил было про подаяние Христа ради, но глянул на моё лицо, на палку, на заплывший глаз

— и осёкся, смолк: с такого взять нечего, такой сам вот-вот пойдёт под чужое окно. Двое подмастерьев в кожаных фартуках протолкались мимо, толкнув меня плечом так, что я едва устоял, и даже не оглянулись. Никто здесь не оглядывался на битого. Битый — дело обычное, вроде дохлой кошки в канаве: заметил, обошёл, забыл.

Пепе заметил меня издали и подошёл сам. Подошёл спокойно, вразвалочку, глядя то на мою палку, то на распухшую половину лица с тем недетским, устоявшимся пониманием, с каким уличные дети смотрят на побитых взрослых: сегодня тебя, завтра меня, дело житейское, чего тут глазеть.

— Обобрали, — сказал он. Не спросил — сказал, как говорят о погоде. — Кто?

— Неважно, — ответил я и опустил на перевёрнутый ящик у стены, потому что стоять дольше было уже не терпением, а мукой. Нога загудела ровно и зло. — Слушай, Пепе. Я тебе вчера обещал разговор. Вот он, разговор. Ты ворует.

Он мгновенно подобрался, весь сжался, как сжимается кот перед прыжком, глаза стрельнули по сторонам — где щель, куда нырнуть, если этот битый вздумает хватать или кричать стражу.

— Тихо. Стой. Я не грожу, — сказал я, не двигаясь, чтобы не спугнуть. — Я считаю. Сядь, послушай, потом убежишь, ноги у тебя быстрые. — Я говорил ровно, негромко, как говорил всегда, когда хотел, чтобы человек остался и слушал. — Ты ворует по мелочи, рискуя рукой. Тут ведь за срезанный кошель руку рубят на плахе, я угадал? На колоде, топором, при всём народе. Значит, ты каждый божий день ставишь свою руку против пары медяков. Плохая сделка, Пепе. Хуже не придумаешь. Ты закладываешь дорогое ради дешёвого. А я тебе предлагаю другую сделку: брать с людей деньги так, чтобы они сами тебе их отдавали. Сами, слышишь. Отдавали, благодарили и звали назавтра снова. Без плахи, без бегства, без страха. И вдсётеро против того, что ты нащиплешь по чужим кошелям за такой же день. Хочешь так уметь?

— Врёшь, — сказал он.

Но не ушёл. Стоял, переминался с ноги на ногу, шмыгал носом — и не уходил. А не уйти — это уже было да; просто он сам об этом ещё не знал.

— Смотри, — сказал я.

Через площадь, наискось, стоял тот самый рыбник, которого я заметил ещё в первый свой день, — тот, что орал цену в пустоту и глядел куда-то поверх голов, мимо людей, будто ему не покупатель нужен, а чтобы поскорее отбыть до вечера. Мужик был грузный, багроволицый, с мокрыми красными руками, и лоток его к этому часу выглядел худо. День клонился к вечеру, скумбрия и мелкая речная рыбёшка потускнели, подсохли, кое-где повело бок, — а покупателя всё не было, и на его лице стояло то же кислое, тупое отчаяние, какое я вчера видел у мужика с яйцами перед закрытием. Товар портился на глазах. Готовый убыток. И, стало быть, готовый мой хлеб — потому что чужой убыток я научился обращать в свой прибыль ещё в той жизни, за столом с телефоном и планшетом, и умение это, единственное из всего, перенеслось со мной целым.

— Иди к нему, — сказал я тихо, притянув мальчишку за рукав ближе к себе. — Ничего не бойся, товар не твой, терять тебе нечего. Скажи всё слово в слово, как я научу, ни своего не прибавляй. Не ори цену, цену тут все орут, на неё уж никто и ухом не ведёт. Кричи в толпу вот что: свежая рыба, к посту, к постному дню, бери, хозяйка, пока не разобрали, последняя рыба нынче, завтра не будет. Понял? Про пост и про то, что последняя. Это главное. И встань не рядом с рыбником, не позади, а на шаг впереди лотка, лицом к людям, будто рыба уже твоя и ты её всем по доброте раздаёшь. И первой же тётке, что хоть чуть придержит шаг, что хоть глазом поведёт, — сунь рыбину прямо в руки, не спрашивая, взять или нет. В руки суй, понял? Кто взял в руки, тот уже наполовину купил, тому уже совестно вернуть. Ступай.

Он посмотрел на меня долгим, недоверчивым взглядом, каким смотрят на тихо помешанного, — не опасного пока, но чудного. Потом перевёл глаза на рыбака, на его мёртвый, никому не нужный лоток, на грузную багровую тушу, тоскующую над своей гниющей рыбой. Потом снова на меня, на палку, на битую рожу. И пожал костлявыми, острыми, как у общипанной птицы, плечами: терять и вправду нечего, забава, дурь, ну да пусть.

И пошёл.

* * *

Я сидел на ящике в тени стены, вытянув перед собой больную ногу, чтобы не гудела, и смотрел, как десятилетний воришка в драном не по росту кафтане делает на грязной рыночной площади ровно то, чему я двадцать лет за хорошие деньги учил взрослых сытых мужиков в галстуках.

Первую фразу он скомкал. Оробел, голос сорвался в петушинный писк, слова смялись, и стоявшая ближе всех баба даже не повернула головы. Я не поморщился: первую всегда комкают, я это знал. Вторую он крикнул чище, злее, упрямее — задело его, что не вышло. А к третьей — я видел это отчётливо со своего ящика, шагов за тридцать, — в нём что-то щёлкнуло. Тот самый азарт, тот хмель, что вспыхивает в человеке впервые и уже не гаснет никогда, когда чужие головы вдруг разом поворачиваются на его голос. Он выпрямился, шагнул вперёд лотка, как я велел, крикнул звонко про постный день, про последнюю рыбу — и сунул тусклую скумбрину прямо в руки опешившей толстой тётке в переднике. И тётка, вместо того чтобы отпихнуть мальчишку и обругать, — растерянно повертела рыбину, понюхала жабры и полезла за пазуху, за кошелём. За её широкой спиной тотчас пристроилась вторая, тощая и остроносая, из тех, что боятся упустить то, что берут другие. Рыбак за спиной у Пепе медленно, как во сне, разинул рот.

За то время, что солнце сползло на ширину ладони к крышам, они распродали весь лоток — тот самый лоток, что простоял мёртвым грузом весь длинный день. Я не слышал слов, я был далеко и в тени. Я читал по спинам, по локтям, по рукам, по тому, как густела, толкалась и снова таяла кучка людей у рыбьего лотка, — и мне было хорошо. Той чистой, спокойной, ничем не замутнённой радостью, какую я и в прошлой своей жизни знал только над одним — над хорошо, ладно, красиво идущей продажей, когда всё сходится и катится само. Мальчишка был талант. Настоящий, редкий, от Бога. Он читал людей от природы, чувал их нутром — ему не хватало только формы, оправы, ремесла. А форму я в него мог влить за неделю, много за две.

Наконец рыбак, опомнившись и разом подобрев от неожиданной удачи, отсыпал мальчишке за помощь — по здешней темноте и скупости не считая толком, просто сгрёб мокрой красной лапой из мошны и сунул, лишь бы не сглазить фарт. Пепе примчался ко мне через всю площадь, лавируя меж возов и ног, и, задыхаясь, разжал передо мной грязную руку: там лежало девять пфеннигов вперемешку, тёмных, стёртых, и две мелкие рыбёшки, которые рыбак, вовсе разойдясь, кинул сверху от щедрот.

Девять пфеннигов.

И тут наступил тот самый миг, ради которого всё и затевалось. Я знал про этот миг заранее, ждал его и боялся; а Пепе про него ещё не знал.

Деньги были у него в руке. Не у меня. Все девять монет — у него, в чумазой мальчишеской ладони. А я сидел на перевёрнутом ящике, на одной ноге, с трухлявой палкой поперёк колен, и если бы он сейчас просто повернулся и дал дёру через площадь, в проулок, в толпу — я бы не догнал его и на трёх ногах, не то что на одной. Всё, что я так ловко построил за этот вечер, весь мой замысел, весь мой хлеб на завтра — всё это лежало сейчас в горсти уличного вора, которому я не был ни отцом, ни хозяином, ни кредитором, ни силой. Ничем я ему не был. Так и работают чужими руками, понял я вдруг всем нутром, а не одной головой: ты отдаёшь чужой руке свою добычу и молишься, чтобы рука вернулась. Больше ты ничего не можешь.

В прошлой жизни я не доверял никому и гордился этим, как иные гордятся честностью. Держал всех на коротком поводке страха и выгоды, всё считал, всё подстраховывал, ни гроша не пускал из виду. Здесь мне доверять было нечем и некому — а приходилось. Впервые за две свои жизни я целиком, до последнего медяка, зависел от чужой честности и ничем, ровно ничем не мог её ни купить, ни принудить.

Пепе смотрел на деньги в своей горсти. Смотрел долго, не поднимая головы.

* * *

А мальчишка в эти несколько ударов сердца жил свою собственную, отдельную от меня жизнь, и в стриженной вшивой голове его шла быстрая, злая арифметика.

Девять пфеннигов. Он и втрое меньшего разом в руках не держал никогда. За девять пфеннигов можно было жить неделю: хлеб, требуха, ночлег под крышей, а не в подворотне, где по осени находят закоченевших таких же, как он. А этот битый доходяга на ящике — кто он ему? Никто. Чужой, пришлый, без роду, сам обобранный вчера дочиста, сам едва живой. Догнать не может — вон, на одной ноге сидит, палкой подпёрся. Крикнуть не крикнет — самому от стражи прятаться. Всё честно по здешнему счёту: кто взял, того и деньги, а зевать не надо. Так учила улица, так учил голод, так учили все, кого он знал за свои десять лет.

И всё же он не двинулся с места. Что-то держало его — не страх, страха не было, а другое, чему он и слова-то не знал. Битый доходяга не гнал его, не хватал, не сторожил. Битый доходяга сказал: убежишь потом, ноги у тебя быстрые, — сказал и отдал ему все деньги в руки, сам, зная, что не догонит. Так с ним, с Пепе, не делал ещё никто и никогда. Все только отнимали или сторожили. А этот отдал и ждёт. И оттого бежать вдруг стало муторно, совестно, будто украл бы не у чужого, а у своего, — а своих у Пепе не было отродясь. Он и злился на это чувство, и не мог его перешагнуть.

* * *

— Половина твоя, — сказал я прежде, чем он успеет додумать свою арифметику до конца и решить не в мою пользу. Сказал спокойно, деловито, будто дело давно решённое. — Бери четыре и одну рыбу. И так будет всегда: что вместе заработаем — делим пополам, ты и я. Не потому, что я добрый, — я не добрый, Пепе, зря не жди. А потому, что вор крадёт один раз и бежит, а работник приносит каждый день. Мне выгодно, чтобы ты завтра вернулся сюда живой и целый. И тебе выгодно вернуться. Вот и весь мой расчёт, никакой доброты.

Он поднял на меня глаза — острые, быстрые, оценивающие, совсем не детские. Помолчал. Потом, будто нехотя, отсчитал себе на грязной ладони четыре пфеннига, отделил их большим пальцем. Помедлил ещё. И вдруг протянул мне обратно пять монет и обеих рыбёшек.

— Пять, — сказал он хмуро, глядя в сторону. — Ты придумал. Твоё больше. — И, помолчав, добавил через силу, будто вырывая из себя: — Завтра-то куда придёшь?

Я взял пять холодных стёртых медяшек и двух мелких рыбёшек — свой первый устойчивый навар в этом мире, первый заработок, который принесли мне не мои, а чужие руки, — и понял отчётливо, что мальчишка сейчас, сам того не зная и не желая, купил меня дороже, чем я его. Он мог сбежать со всем — и не сбежал. Он отдал мне больше, чем взял себе, хотя мог не отдать вовсе. В городе, где меня за два дня успели избить, ограбить и оценить дешевле дохлой рыбы, десятилетний воришка первым обошёл со мной по совести — и что-то во мне, давно засохшее, зажатое, забытое ещё там, царапнуло на это изнутри, неудобно, незнакомо, некстати. Я поймал это движение и загнал его поглубже, привычно, как загонял всегда. Сантименты не продаются и на хлеб не мажутся. Но и не забыл.

— Приду сюда же, на рассвете, — сказал я. — И принесу тебе не рыбу, Пепе. Рыбу ты и сам добудешь. Я принесу тебе ремесло. Оно кормит дольше рыбы и не тухнет к вечеру.

Он не понял, кажется, и половины. Но кивнул, сунул свои четыре пфеннига и рыбину за пазуху, глянул на меня ещё раз, косо, как на чудного, — и растворился в вечерней толпе, быстрый и тихий, как ему и положено.

* * *

Рыбёшек я в тот вечер сварил.

Выпросил у Барбары — угрюмой костлявой вдовы из умирающей харчевни у самых ворот — кипятку и угол очага за один пфенниг, приглядываясь при этом и к ней, и к её пустым, дочиста выскобленным, но всеми забытым столам уже по-хозяйски, впрок, как приглядываются не к чужому, а к тому, что однажды может стать своим. Харчевня доживала: два стола, чадающий очаг, кислый запах вчерашней капусты да сама Барбара — прямая, сухая, с плотно сжатым ртом и глазами, в которых давно погасло всё, кроме усталого недоверия ко всякому, кто входит. Она молча взяла мой пфенниг, попробовала на зуб, молча указала на край очага и молча же следила за мной от стены, скрестив руки, пока варилась рыба, — так следят за собакой, которую пустили погреться, но не уверены, что она не цапнет.

Горячая рыба, хоть какой, а белок, легла в пустой желудок долгожданным теплом и силой. Я ел не спеша, обсасывая каждую косточку, — не от жадности даже, а потому что тело требовало своё, а телу этому предстояло меня носить и работать. Поел. Ощупал больную ногу, размял её, как умел, осторожно, до края боли и чуть назад. Потом размял здоровые руки и плечи и заставил себя отжаться от земляного пола на костяшках — в тот вечер вышло всего пяток раз, тело качало от голода и побоев, руки дрожали и подламывались. Но я сделал этот жалкий пяток до конца, потому что не сделать значило поддаться, а поддаваться, уступать своему же слабому мясу я разучился ещё в той жизни и разучиваться заново не собирался. Тело — последнее, что у меня осталось своего. Его я и буду отстраивать, медленно, через силу, через голод, по одному отжиманию.

Четыре пфеннига да две обглоданные рыбы головы, оставшиеся от ужина, — вот и весь мой капитал на исходе второго дня в этом мире. Ноль вчера, четыре сегодня. Против четырёх талеров долга Клаасу это было смешно, оскорбительно, унижительно мало — шепотка меди против горы серебра. Но я считал не деньги. Деньги — это следствие, хвост; я всю жизнь считал не хвост, а голову. А в голове у меня к исходу второго дня было вот что: у меня теперь были руки на рынке — быстрые, ловкие, честные, ничьи, кроме моих. У меня был способ, приём, который работал не по случаю, а всякий раз, — я проверил его дважды, на яйцах и на рыбе, и дважды он дал прибыль. И у меня был угол очага у Барбары, чьё умирающее, чадающее дело я уже прикидывал так, как прикидывают брошенный, ржавый, но крепкий ещё станок, который умелый человек может поднять и заставить снова давать хлеб.

* * *

А вдова Барбара, глядя от стены, как чужой битый постоялец обсасывает рыбы кости у её очага, думала свою тяжёлую, невесёлую думу.

Она перевидала таких на своём веку без счёта. Харчевня у городских ворот — место проходное; через него за двадцать лет протекли сотни таких вот: битых, тощих, беглых, при последнем медяке, с бегающими глазами. Одни платили и уходили, других приходилось гнать поленом, третьи резали друг друга прямо тут, у столов, из-за кости или косого слова. Она давно перестала различать в них лица и жалеть их — жалость свою она схоронила вместе с мужем и обоими сыновьями, кого прибрала горячка в один чёрный год, оставив ей эти два стола, долги да пустоту. С тех пор она смотрела на входящих одним только счётом: заплатит ли, украдёт ли, зарежет ли. Больше в людях её ничего не занимало.

Этот был странный. Битый крепко, а не заискивал, не скулил, не божился — вошёл тихо, заплатил, не торгуясь, вперёд, ел молча и опрятно, кости складывал в кучку. И глядел не как побирушка на подачку, а как-то иначе, будто прикидывал, обшаривал глазами её стены, её очаг, её пустые столы, — по-хозяйски глядел, оценивая, и от этого взгляда вдове было не по себе. Не вор — вор глядит на добро, а этот глядел на самое дело её, на харчевню, будто примеривался. Ну да пусть глядит, думала она устало. Погреемся, доест свою рыбу да уберётся,

как все они убираются. Мало ли что чудится усталой бабе к ночи. И она отвернувшись подбросить хворосту в гаснущий очаг, выкинув чужака из головы, — как выкидывала всех.

* * *

Работать я буду отсюда, из тени. Так я решил окончательно, доедая рыбу под недоверчивым взглядом вдовы.

Пепе — на виду, на свету, под чужими глазами и ножами. Я — за его спиной, в углу, невидимый, неприметный, никто. Никакой стрижки напоказ, никакого чистого лица над толпой, никакой монеты в горсти на людях — ничего, ровно ничего, за что мог бы зацепиться чужой жадный глаз и потянуть. Один раз меня уже раздели за то, что я торчал. Второго раза не будет. Тихо. Серо. Незаметно. Из мёртвых, никому не нужных лотков, из чужого вечернего отчаяния, из тонкого воздуха между тем, у кого гниёт непроданный товар, и тем, у кого есть нужда и медяк, — по пфеннигу, по грошу, по капле, вверх. Медленно. Незримо.

Восемнадцать дней. Хромая нога, четыре пфеннига, один мальчишка и одна угрюмая вдова, которая пока об этом не догадывалась.

Я усмехнулся разбитым ртом. В прошлой жизни мне давали отдел, оклад и тёплый офис — и я делал план. Посмотрим, что я сделаю из ничего.

Глава 7. Харчевня

Пепе пришёл на рассвете, как обещал, и это было важнее всех четырёх моих пфеннигов, вместе взятых.

Я ждал его у стены, в той сырой сизой мгле, что стоит над Вареном перед восходом, когда город ещё не проснулся, а уже смердит: тянет с реки холодной гнилью, тянет из-за угла помойной ямой, тянет со стороны кожевен той едкой мочевой вонью, от которой сводит нёбо. Земля под ногой была стылая, схваченная за ночь ледяной коркой; изо рта шёл пар. Я стоял, вытянув больную ногу, грел о неё, считай, одну здоровую, и почти уже уговорил себя, что мальчишка не придёт. Что забрал вчерашнюю выручку да и был таков, как поступил бы на его месте всякий, у кого нет за душой ничего, кроме голода и уличной сметки. Уговаривать себя на худшее — старая моя привычка: кто ждёт от людей подлости, того подлость не заставит врасплох.

А он пришёл. Вынырнул из мглы, чумазый, стриженный, шмыгая красным на холоду носом, и встал передо мной как ни в чём не бывало, будто мы уговорились не о деле, а о том, что солнце нынче встанет. И я ощутил внутри то тихое, скупое тепло, которого стыдился и которое давил в себе обеими жизнями. Человек, который держит слово, когда мог не держать, когда никто не спросил бы с него и никто не узнал бы, — редчайший товар в любом из миров, дороже золота, потому что золото подделывают, а это нет. Я знал ему цену. Я всю прежнюю жизнь искал таких в свой отдел и почти не находил, а тут его вынесла мне под ноги варенская помойка, босого и голодного. Я не сказал ему ничего. Похвала портит работника вернее брани. Я только мотнул головой — пошли, мол, — и мы пошли на рынок.

Мы взяли за утро ещё восемь пфеннигов.

Работали на паре мужиков, что пригнали с ночи телегу и сбывали последний осенний товар — вялую морковь, битую репу, вилки капусты с почерневшими краями, всё то, что не ушло по теплу и теперь горело у них на руках, потому что до весны не долежит, а везти обратно — только лошадь мучить. Один был рыжий, суетливый, из тех, что орут цену и злятся; другой — тяжёлый, молчаливый, с лицом обиженного вола. Я сидел в тени у стены, читал их, читал толпу, читал баб, что проходили мимо с корзинами, и шептал Пепе на ухо, кого хватать за рукав и что кричать. А он бежал и делал. Не капусту гнилую продавал — продавал хозяйке, что кормит семью, спасение от зимней бескормицы, последнюю дешёвую капусту перед тем, как цена подскочит; и хозяйки брали, и мужики только рты разевали, глядя, как их лежалый товар уходит бойчее свежего.

И это было хорошо, и это никуда не годилось разом.

Хорошо — потому что модель работала как часы, без сбоя, как хорошо смазанный, послушный руке механизм: я — голова в тени, он — руки и ноги на свету, и медь текла к нам с чужого отчаяния тонкой, но верной струйкой. Никуда не годилось — потому что так, по медяку, по полушке с чужой беды, я и за сто дней не набрал бы Клаасу его четырёх талеров, а у меня было всего семнадцать пфеннигов, зашитых в тряпицу на груди, и я перебирал их по ночам, как скупец, и знал каждую щербину на каждой монете. Уличный навар кормит, но не богатит. Он тратит твои ноги, а ноги — единственное, что у меня было в остатке, да и те одна здоровая. Мне нужно было не бегать по всему торгу за случайным убытком, высматривая, где сегодня прогорит очередной дурак, а сесть на одном месте. На таком, куда убыток и покупатель приходят сами, каждый божий день, без моих ног, которых у меня, считай, и не было.

Такое место в городе было. Одно. И я на него уже неделю смотрел, как голодный пёс смотрит на мясную лавку через щель в заборе.

Харчевня Барбары стояла у самых рыночных ворот — там, где всякий, кто входит в город с тракта, голодный, продрогший, обветренный дорогой, с пустым брюхом и полным кошелём,

проходит в двух шагах от её двери. Лучшее место во всём Варене, золотое место, единственное в своём роде: мимо него рекой тѣк живой, платящий, голодный народ — возчики, гуртовщики, паломники, мелкие торговцы с окрестных сѣл, вся та людская река, что вливалась в город с рассвета и до вечерней стражи. И это место умирало.

Тѣмная низкая дверь, будто вход в погреб или в могилу. Облезлая вывеска, с которой давно осыпалась краска, так что и не разобрать, что там намалѣвано — не то каравай, не то колесо. Внутри — чадный полумрак, кислый дух вчерашнего дыма, три пустых стола с исцарапанными столешницами да очаг, что тлел без толку, грея пустоту. А сама Барбара — крупная, тяжѣлая баба с угрюмым, обвисшим лицом и красными руками прачки — гоняла грязной тряпкой ленивых осенних мух и раз в час, не чаще, продавала кому-нибудь миску серой, жидкой похлѣбки, в которой сиротливо плавала пара разварившихся крупин.

Она сидела на золотой жиле и медленно, обстоятельно шла ко дну. И делала при этом ровно то же, что весь этот город, вся эта тѣмная торговая улица: выставила товар и ждала. Сидела над горшком и ждала, что голодный сам догадается зайти, как ждали её мать и мать её матери, как ждали тут все, из поколения в поколение, покорно и тупо. А голодный народ тѣк мимо её двери и не заходил — не потому, что невкусно, а потому, что ничто не звало его зайти. Дверь была темна, вывеска мертва, запах заперт внутри. Человек с дороги, усталый, продрогший, сам не знавший толком, чего хочет, проходил мимо чѣрного провала двери и шѣл дальше, к площади, где было светло и людно, и там оставлял свою медь.

Вот сюда я и собирался сесть.

Тихо, в угол, к очагу — туда, куда не достанет ни чужой любопытный глаз с улицы, ни больная моя нога не помешает, ни лишний человек не заглянет. Оттуда, из тѣплой тени, из-за спины угрюмой вдовы, поднять это мѣртвое дело, влить в него ту кровь, которой оно не знало, и снять с него свою долю — оставаясь для всех просто увечным приبلудой, что пригнулся при вдовьей кухне за миску похлѣбки. Не хозяином. Не ловкачом с деньгами, за которым приходят ночью. Тенью при чужом очаге.

Оставалось уговорить Барбару. А это, я чуял, был орех потвѣрже Пепе. Мальчишку гнал ко мне голод и жгучее любопытство; эту бабу не гнало ко мне ничто, кроме её собственной, годами копившейся, окаменевшей беды, а на чужой беде, если знать к ней ход, стоит половина всех сделок на свете.

* * *

Я подсел к ней под вечер, когда пустота харчевни была особенно наглядной и особенно горькой: за окном валил с рынка домой сытый, отторговавшийся народ, а у неё в чаду сидел один я над своей рыбой да тлел без дела очаг.

Начал я не с уговоров. С уговоров начинают дураки, которым нечего предложить, кроме собственного напора. Я начал с того, с чего надо начинать всегда, если хочешь, чтобы тебя услышали, — с её боли.

— Плохо идѣт, хозяйка, — сказал я негромко, не глядя на неё, глядя в огонь. — Место золотое, а столы пустые. Тебя это гложет каждый вечер, как ляжешь.

— Тебе-то что, приبلуда, — буркнула она, не оборачиваясь, шаркая тряпкой по столу. — Ешь свою рыбу да помалкивай. Пустили тебя в тепло — и сиди тихо.

— Мне то, что я знаю, отчего у тебя пусто, — сказал я. — И знаю, как сделать полно.

Тряпка остановилась. Барбара медленно обернулась, уперла тяжѣлые красные руки в бока и оглядела меня всего, сверху донизу, — битого, хромого, в чужом рванье, с чѣрным от голода лицом — тем плотным, презрительным бабьим взглядом, каким меряют навозную кучу под ногами: обойти или переступить.

— Ты. Знаешь, — повторила она, и в голосе её была не злость даже, а усталое, тяжѣлое удивление, что дрянь такая ещѣ и рот раскрывает. — Мне мать в этой харчевне сорок лет

стояла. И я двадцать стою, руки по локоть в котле сгноила. А ты, оборванец, невесть откуда взявшийся, знаешь.

— Знаю, — сказал я спокойно.

Спокойствие битого человека, который не отводит глаз и не суетится, сбивает с толку сильнее любого крика. Она ждала, что я стушусь, огрызнусь или заискивающе залебезю, как лебезит перед хозяйкой всякий приبلуда, — а я сидел ровно и смотрел на неё снизу вверх без страха и без наглости, как смотрят на равную по делу.

— Хочешь, — продолжал я, — скажу даром. А ты слушай и гони меня в шею, если совру хоть в слове. Мимо твоей двери за день проходит сотня голодных с тракта. Может, и две. Ни один не заходит. Почему? Не оттого, что у тебя невкусно, — у тебя пахнет добрым варевом, я нюхал, у тебя рука на похлёбку не хуже иных. А оттого, что запах твой остаётся тут, при тебе, в дыму, взаперти. На улицу, к голодному, к тому, у кого урчит в брюхе, он не выходит. Оттого, что дверь у тебя как лаз в погреб — тёмная, низкая, в неё войти боязно, будто на тот свет спускаешься. Оттого, что усталый путник, который сам не знает, чего хочет, — есть ли, спать ли, — проходит мимо, и никто не сунулся ему в лицо, не сказал прямо: вот тут, стой, тут горячее, тут ты отогреешься и брюхо набьёшь. Ты ждёшь, когда голодный сам догадается зайти. А он не догадается. Голодному нельзя давать догадываться — ему надо сунуть миску под самый нос, чтоб он учуял, чтоб слюна пошла, и он сел, ещё не поняв, как сел.

Барбара молчала. Тряпка висела в опущенной руке и капала на пол.

Я говорил ей то, что она смутно, без слов, чуяла все эти двадцать лет, стоя над стынувшим горшком, — но не умела назвать, не умела ухватить, и оттого злилась на весь свет и на свою судьбу. А нет ничего сильнее, чтобы взять человека, чем назвать ему вслух его собственную, невысказанную, годами ноющую догадку. Тогда он смотрит на тебя не как на чужого, а как на того, кто влез к нему в самое нутро и вытащил на свет то, что там сидело.

— И что? — сказала она наконец, хмуро, но уже совсем другим голосом, тише. — Колдовать надо мной будешь? Наговор какой знаешь?

— Работать буду, — сказал я. — Твоими котлами. Твоей едой. Твоим именем. Себя не покажу — я тут никто, увечный при кухне, кто на меня посмотрит. Дай мне три вечера. Всего три. Не наполню тебе столы — уйду, и ты ничего не потеряешь: три вечера у тебя и так пустые, они у тебя все пустые. А наполню — уговоримся о доле. О малой. Ты посчитай, хозяйка, не торопись: полный стол при малой доле выгоднее пустого без всякой доли. Всё, что сверх нынешнего, — то и прибыль, а нынче у тебя ноль.

И она считала.

Долго, тяжело, шевеля бледными губами и глядя в огонь, — как считают все, кому нечего терять и кто оттого боится потерять последнее вдвое сильнее сытых. Я не мешал ей. В такие минуты слово лишнее только вредит: пусть человек сам придёт к тому, к чему ты его подвёл, — тогда он поверит, что решил сам.

— Три вечера, — сказала она наконец и ткнула в мою сторону толстым красным пальцем. — И если ты, приبلуда, меня осрамишь перед людьми, ежели народ надо мной смеяться станет, — я тебя вот этой самой рукой из ворот вышвырну, хромого, и в грязь мордой. Понял?

— По рукам, — сказал я.

Руки мы, впрочем, не жали: она брезговала касаться моей рвани, а я не настаивал. Сделка была заключена там, где заключаются все настоящие сделки, — не в рукопожатии, а у неё в голове, где полный, гудящий стол уже сам собой пересчитывался в звонкую монету, и монета эта звенела ей слаще всяких моих слов.

* * *

А Барбара, вернувшись к своему котлу и делая вид, что скребёт присохшее дно, думала о том, чего не сказала бы вслух и под ножом.

Двадцать лет она стояла тут, как вкопанная, как стояла мать, — и двадцать лет смотрела, как оседает, ветшает, умирает дело, доставшееся ей от матери, а матери от бабки. Она не была дура. Она видела, что дом хиреет, что медь в переднике к вечеру всё легче, что молодые ходят есть на площадь, к бойким да к горластым, а к ней заворачивают одни бродяги за самой дешёвой похлёбкой. Она видела — и не знала, что делать, и оттого злилась и грубела год от года, и кляла судьбу, и город, и покойного пропойцу-мужа, и всех сытых кругом. А делать не знала. Мать не делала — и она не делала. Стой да жди.

А этот битый оборванец с чёрным лицом и барским, ровным голосом сел давеча к её очагу и в три слова назвал ей то самое, что грызло её двадцать лет и чему она не знала имени. Запах взапери. Дверь как погреб. Ждешь, когда сам догадается. Она слушала — и внутри что-то ныло и обрывалось, будто чужой человек влез грязной рукой ей под рёбра и потрогал больное. Кто ты такой, думала она, глядя в котёл. Откуда ты такой взялся, увечный, что видишь моё горе яснее меня самой. Ежели ты враль и морочишь — прогоню и забуду. А ежели нет... И тут у неё под ложечкой холодело от жадной, стыдной, давно забытой надежды, какую она душила в себе годами, чтоб не так больно было. Мать бы поглядела, думала она. Мать бы поглядела, что дочь надумала пустить к делу приبلуду с помойки. Да только мать в могиле, а дом-то живой, дом-то есть просит. Три вечера, сказала она себе. Три вечера — не жаль. И принялась скрести дно котла так, будто от этого скрежета зависела вся её жизнь.

* * *

Начал я не с еды. Еда у неё была, худо-бедно, а была — начал я с того, чего не было вовсе: с нужды в этой еде. Нужду надо было создать, вытащить её из воздуха, из вечернего холода, из пустых брюх, что текли мимо ворот, и подвести к самой двери.

Первым делом — запах.

Я велел вынести жаровню с горячими углями к самой двери, на улицу, на самый людской ток. Барбара, ворча и крестясь, будто я толкал её на грех, бросила на угли по моему слову пригоршню нутряного сала, обрезки, что шли обычно псам, луковую шелуху, мозговую кость, — всё, что дёшево, всё, что даром, и всё, что, тлея и шкворча на углях, пахнет на всю округу мясом, жиром и сытостью. Через четверть часа над воротами Варена, над сотнями продрогших, голодных, бредущих с тракта людей поплыл густой, жирный, дурмящий дух горячей еды. Он стелился по стылому воздуху, он лез в ноздри, он хватал прохожего за самое нутро вернее всякого зазывалы, вернее самой ловкой бабы. Невидимая рука, что берёт человека за шиворот и разворачивает к двери прежде, чем он успеет подумать. Реклама, которой этот город не знал и знать не мог, потому что в нём не было и слова такого. Я продавал голод прежде, чем еду, — а голод тут был у всякого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.